

ВРЕМЯ ИДЕИ 73 1983

- ГЕОРГИИ АГАБЕКОВ - ШЕКСПИРОВСКИЙ ГЕРОЙ
- ЗА ЧТО ИЗРАИЛЬТЯНЕ ИДУТ НА СМЕРТЬ
- ЗАПОЗДАЛОЕ ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
- ПОЕЗДКА ПО АМЕРИКЕ
- БУДУЩАЯ ВЛАСТЬ
В СССР



В.Дмитриев Сталкер смотрит в зеркало



Арон Каценелинбойген Мысли о пользе монархии



Гордон Брук-Шеферд
Судьба советских
перебежчиков

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Девятый год издания

Выходит один раз
в два месяца

73
1983

ИЮЛЬ - АВГУСТ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1983

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АСЯ КУНИК (отв. секретарь)	ДОРА ШТУРМАН (зам. гл. редактора)
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штротас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Западный Juscwa Mischijew
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Юз АЛЕШКОВСКИЙ
Карусель (окончание) 5
Шуламит ГАР-ЭВЕН
Два рассказа. Перевод В. Кукуя 59

ПОЭЗИЯ

ВАСИЛЬ СТУС
Неприкаянность нам на роду. Переводы Д. Надеждина . . . 99
Е. ТЕРНОВСКИЙ
Перебои 105
Лия ВЛАДИМИРОВА
Переходы летящих мгновений 108

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
Мысли о пользе монархии 116
Сергей ЗАМАЩИКОВ
Запоздалое открытие Китая 137
Амос ОЗ
За что люди идут на смерть? 150
В. ДМИТРИЕВ
Сталкер смотрит в зеркало 158
Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Американская командировка 177

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Адам УЛАМ
Политическое противоборство: США — СССР 189

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Гордон БРУК-ШЕФЕРД
Судьба советских перебежчиков. Перевод И. Косинского . . 197

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Кафе "Вольтер" — кузница ленинизма 244

РЕПЛИКА

Дора ШТУРМАН
Небрежность в терминах, или искажение истины. 251



Юз АЛЕШКОВСКИЙ

КАРУСЕЛЬ

“ Мы остановились, по-моему мнению, на одном из самых интересных мест всех писем вместе взятых. Но я хочу немного забежать вперед из-за уехавших Ивановых. Я эту семью паковал, я ее как следует узнал, я ее отправлял и провожал до самого Бреста и хочу о ней рассказать, потому что семья эта в некотором смысле самая смешная, жалкая и милая одновременно из всех запакованных и отправленных мною в Вену еврейских, русских, литовских, немецких и прочих семей.

Вышло так, что слух про замечательного упаковщика и при этом умного и честнейшего человека, не зараженного низким жлобством (я имею в виду себя), прошел по Подмосковию и вышел, как пишут в “Правде” далеко за его пределы. Мне звонили из Курска, Тамбова, Ульяновска и Брянска с просьбой приехать и помочь упаковаться, мне писали из Ленинграда, Тюмени, Ташкента, Киева, Воркуты — я не знаю, откуда мне только не писали. И я при наличии возможности вылетал то туда, то сюда, помогая людям за не-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

большую оплату моего беспокойного труда. Каким образом и мое имя стало так широко известно — не знаю. Но это неважно. Наверное, одни передавали его другим, другие третьим и так далее. Не перестаю удивляться, как это оно до сих пор не попало в поле зрения Лубянки. Береженого Бог бережет.

Приходят ко мне Ивановы. Ему — 70 лет. Жене — 68. Оба высокого роста, но он худой как скелетина, она, наоборот, — эдакая бочка. Боевая, видать, была в прошлом бабенка. Мальчику ихнему Валере — 14 лет. Дочери Милке — 16. Начал Иванов замогильным голосом с того, что он и Клава неожиданно влюбились друг в друга в доме отдыха. До этого Иванов ни разу не был женат и вообще (это я узнал от него самого впоследствии) не обладал женщинами по причине застарелого страха. Он был невинен, но не мучился этим и, что любопытно, никогда не дробил, такая жизнь его вполне устраивала. Работал он в тресте озеленения бухгалтером и страстно любил время годового отчета. Трест этот выбрал Иванова, потому что у начальства и рабочих не было в обороте никаких материальных ценностей, кроме саженцев лип, тополей, всяких кустиков и семян травы, и поэтому там никто не мог вовлечь Иванова в различные шахер-махеры, гешефты, взятки, приписки, очковтрирательство, подделку накладных, мухлеж документации, так что он мог спать спокойно, и это было все, чего он желал от жизни, советского общества и светлого будущего. Раз в году Иванова (до брака Розенцвейга) отправляли в дом отдыха, где он забивал круглые сутки "козла", читал еженедельники "Неделя" и "За рубежом" и был непременно начальником боевой дружины. Дружина состояла из непримиримых борцов против повального блуда в палатах дома отдыха. Всякие, как я понял, уроды и лица с фашистскими наклонностями следили, чтобы мужики не оставались ночью у баб, а бабы у мужиков. Они же шуровали с фонариками в парке, среди кустиков и, если ловили "половых разбойников", то администрация сразу же выписывала их досрочно за моральное разложение трудящихся в период оплаченного профсоюзом отпуска. Раз отдыхать приехал, то отдыхай, собака, а не бесись на казенных

харчах, потерпи до дому, уйми животную страсть к женщине мимолетной, которая честной не бывает и с тобою изменяет такому же труженику, как ты...

И вот однажды бывший Розенцвейг возвращается в свою палату с дежурства в лесистом парке, где он испортил удовольствие нескольким пожилым парочкам. Да, дорогие! Пожилым парочкам! И не удивляйтесь. Наша советская бытовая жизнь в перенаселенных коммунальных квартирах, в комнатухах, где спало, бывало, по пять-восемь человек, кроме супругов, включая бабок и дедов, до того уродовала отношения жены и мужа в единственном родном и теплом месте на Земле — в постели, что люди и женатые и не женатые, вырываясь раз в году в дом отдыха или в санаторий буквально начинали беситься от похоти, переходящей в жадность.

Хрен с ними. Вернемся к Розенцвейгу. Приходит он в палату из парка, где испортил половое веселье пожилым парочкам (он сам мне все это рассказал), проверяет, не спряталась ли какая-нибудь бабешка к мужику под одеяло, ложится в кровать, довольный проделанной общественной работой, заменявшей, как он теперь понял, естественные отношения с женщиной, и просыпается ночью от того, что чья-то рука крепко-крепко сжимает все его мужское хозяйство и чьи-то пышущие жаром губы закрывают его рот, готовый уже было к ужасному воплю. Почувствовав, вернее, поняв, что рядом женщина (это было полбеда), а не мужчина (такое случалось в домах отдыха), Розенцвейг попытался высвободить свое хозяйство, дергаясь и извиняясь, но почему-то не поднимая при этом шума. Однако он не высвободился, но начал испытывать впервые в жизни удивительное ощущение стука сердца в приласканном нежной рукой женщины, в невинном своем и немолодом уже члене.

— Пожалуйста, отпустите меня, гражданка, — попросил он не настойчивым шепотом, и незнакомая женщина положила его дрожащую руку себе на грудь и сжала его пальцами сосок, страстно давая понять, как это следует обычно делать, а поскольку уж отпала надобность пленять хозяйство Розен-

цвейга, она крепко, обеими руками обняла борца с дурными нравами и впиалась губами в его губы.

— Ты — мальчик... я знаю, что ты — мальчик, иди не бойся... — И она помогла ему подняться над ней и встать на колени, и сделать все что нужно, и теперь сам он судорожно целовал женщину, не ведая, что ждет его через мгновение, но стремясь к этому и опережая от неумения задержать их, минуты долгого, если не бесконечного, наслаждения. Он так по-детски испугался, когда стал вдруг терять ощущение самого себя после первой волны содрогания, смывшей с него все мысли и образы мира, с грохотом прокатившейся от мозжечка до кончиков пальцев на ногах и снова оглушившей шумом и тяжестью, что сопровождал первое в своей жизни извержение семени хриплым криком. Так он, по его словам, кричал во сне, когда его душил управляющий трестом озеленения.

И — вот вам еврейское счастье Розенцвейга! Крик его разбудил всю палату. Женщина, он даже не сумел разглядеть ее лица, убежала полунагая, а мужики сказали: "Ага! Сволочь! Нам не велишь, а сам по ночам хорька под шкуру загоняешь?" И Розенцвейга, еще не совладавшего с перепадом дыхания и сердцебиения на гребне последней волны, начали мстительно мудохать. Его били и ногами и руками, и перекрученными простынями, и мокрыми полотенцами. А Розенцвейг, все существо которого еще пронзало случившееся причастие к потрясающей тайне нашей жизни и смерти, не чувствовал боли, не слышал тяжкого дыхания мстителей, потому что все это казалось ему необходимым продолжением только что испытанного потрясения. К тому же он не сразу начал соображать. Когда наконец его, измудоханного и жалкого, отдыхающие бросили на кровать, он тихо плакал, но от радости воспоминания, а не от обиды и боли. Он был страшно рад, что умело прикрывал от ударов свое хозяйство, ибо странное происшествие вмиг избавило его от безразличия к судьбе собственного пола...

Возможно, вы думаете, зачем я все это вам мелю, бросив разговор о себе и своем несчастье в психушке. Отвечу так: я

пишу о том, о чем мне хочется писать, а во-вторых, подобным образом вечно скачут мои мысли, и поэтому именно в такой, непонятной вам последовательности, я сейчас сочиняю части своих очередных писем.

Назавтра Розенцвейга, избитого до неузнаваемости, допрашивала приехавшая милиция. Он никого не выдал. Сказал, что подрался с хулиганами из райцентра, но лиц ихних не запомнил, что все до свадьбы заживет и претензий к милиции, нашей партии и предстоящим выборам в Верховный совет РСФСР он не имеет, в чем и расписался для благополучного закрытия дела. Однопалатники, пораженные благородством и мужеством такой сволочной зануды, как Розенцвейг, а также его склонностью к тайному пороку, устроили а палате мощную, запрещенную правилами режима в домах отдыха пьянку. Пьянку с бабешками, патефоном и всеми делами. Розенцвейг выпил слегка и затосковал по ночной незнакомке. Он ходил по палатам женского корпуса, по столовой, по игровым площадкам, по разным тенистым закуткам и требовательно вглядывался в лица и фигуры отдыхающих дам. Более того, все исключительно дамы не скрывали своего ехидного злорадства, глядя на распухшую от фингалов физиономию Розенцвейга. Выбрав среди многих, по непонятным ему самому приметам, одну бабенку в очках и с книжкой в руках, он подошел и спросил:

— Возможно... извините... это у меня произошло с вами?

— Что "это"? — удивилась бабешка.

— Ночная близость, — после мучительных поисков вежливого выражения, сказал Розенцвейг и получил книжкой по башке. Но он продолжал рыскать по зоне отдыха, осатаневая от беспокойного и мощного желания. И наконец он увидел сидевшую на траве под березой и плетущую веночек из ромашек и васильков, пожилую и полную женщину в оранжевых трико и синем в белый горошек бюстгальтере. Розенцвейг подполз к ней на коленях, ибо он, по понятным вам, надеюсь, причинам, не мог передвигаться в выпрямленном виде, а может быть, и потому что животная страсть возвращает нас к манерам давнишних времен, когда мы все бегали на четве-

реньках и не было в нас ничего, кроме аппетита и желания огулять на солнечной поляночке даму... Розенцвейг подполз к ней, долго смотрел в ее потонувшие в лиловых подушечках щек глазки, взглатывал слюнки и ничего не мог сказать. Бабенка, однако, не захипежила, глядя на безумно и прерывисто дышащего мужчину с покрытым ссадинами и финглами лицом. Для нее, в ее возрасте и при более чем непривлекательной наружности, ухаживание даже такого рода было лестным и неожиданным. Она прикрыла варикозные вены на ногах сарафанчиком, что ужасно напугало Розенцвейга. И тогда он начал не с начала, а с конца. Он сказал:

— Я на вас потом буду жениться! Да, да, да! — она молчала, а он продолжал, — да... да... да... да, — потому что зуб не попал на зуб, так дрожали челюсти у бедняги на пятьдесят четвертом году жизни от жуткой похоти.

— Вы смешной. Что значит "потом"? — закокетничала дама.

— Потом! — с тупым отчаяньем воскликнул Розенцвейг и впился губами в самую близкую точку необъятного тела дамы — в пятку на левой ноге — и заплакал при этом, как мальчик. Она погладила его по голове громадной рукою и, высвободив пятку, подтянула Розенцвейга повыше. Теперь он целовал тугие и крепкие, как футбольные мячи, колени и явно поощренный мощным ответным желанием, не вставая с карачек, потянул ее в кусты. К счастью, дама безрассудно откликнулась на один из редчайших в ее жизни зовов судьбы и тоже на карачках последовала за Розенцвейгом. Правда, из чисто женского инстинкта подстраховки она по инерции жарко говорила:

— Все вы такие... все вы такие, — но в худосочных кустиках сама сдернула с себя оранжевые трико и предстала перед Розенцвейгом во всей своей красе. Не ожидавший никогда в жизни, что его будет трясти от одного только прикосновения к телу женщины, Розенцвейг залез на даму, но не успел продемонстрировать мужских достоинств. Он содрогнулся, забывшись от счастья и восторга момента, в тот же миг лицо дамы и, разумеется, голый зад Розенцвейга, хотя он этого не видел, осветила яркая вспышка, щелкнул фотоаппарат и гро-

мыхнул хамский хохот. Однопалатники продолжали мстить своему бывшему преследователю. Хохот их был беззлобный. Намерения тоже. Розенцвейг, к своему удивлению, не без самодовольства попросил их отвернуться и дать даме одеться.

— Это будет моя жена, — пояснил он.

Мужики отнеслись к его заявлению без хамства. Наоборот, тут же решено было устроить вечером свадьбу в палате. Розенцвейг щедро выложил из заначки сто рублей на водку и вино.

Свадьба, действительно, была веселющей — с аккордеоном, песнями, топотом "цыганочки" и "яблочка", с частушками и бурной дракой. Затем опять были песни, все орали "горько!", и Розенцвейг быстро выучился делать неторопливые жениховские засосы. Наконец пьяный массовик-затейник вырубил во всем доме отдыха свет и заорал по радио:

— Объявляется вальс "На сопках Маньчжурии"! Дамы приглашают кавалеров в кровати. После вальса общий пистон И-рраз-два-три! И-рраз-два-три...

Наши советские люди привыкли следовать призывам. В доме отдыха началось что-то ужасное. Начался повальный блуд под маркой свадьбы Розенцвейга, о чем и сообщила утром дирекции и главврачу группа мужчин и женщин, уклонившихся по различным уважительным причинам от беспардонного совокупления друг с другом.

Розенцвейг, продолжая демонстрировать благородство характера, взял всю вину за пьянку и блуд на себя и свою невесту. Их немедленно выписали досрочно из профсоюзного заведения, написали на работу гневное письмо и вломили счет за побитые пепельницы и разломанную стокилограммовыми телесами невесты кровать. Массовика-затейника уволили с работы. Но Розенцвейг был счастлив. Они тут же подали заявление в ЗАГС. Расписались. Муж взял фамилию жены — Иванов, — для того лишь, чтобы не помнить своего уродливого прошлого, а не для ассимиляции, ибо даже под фамилиями Бубенчиков или Коровкин, он не сумел бы замаскировать своего носа, отвислой губы и пугливых бараньих глаз. Самое интересное для меня лично в истории Розенцвейга-Иванова

было то, что это не Клава оказывается лишила его на старости лет невинности, а какая-то другая безумная ночная шалунья, пожелавшая остаться неизвестной.

Да, дорогие, браки поистине совершаются на небесах, и внимание небес распространяется не только на танцплощадки, пляжи, главные улицы городов, купе поездов, музей и очереди за американскими пластинками, но и на такие жалкие и бедные людские скопища, как советские дома отдыха трудящихся.

Хорошо. Звонит мне однажды Иванов и лепечет, что если я его не упакую и не помогу притырить кое-что из ценного, то он никогда не уедет...

Приходите, говорю. Приходит. И вот, последняя часть его истории, записанная на пленку. Как я жалею, если б вы знали, что не записал рассказа Иванова с самого начала. Как я об этом жалею и рву на себе волосы, что всю жизнь при несомненном внимании и интересе к судьбам людей и смыслу людских историй, не заносил в блокнот хоть вкратце самые захватывающие моменты их жизней. Итак —

РАССКАЗ БЫВШЕГО РОЗЕНЦВЕЙГА, ТЕПЕРЬ ИВАНОВА

Честно говоря, товарищ Ланге, я — идиот, а моя Клавочка — Спиноза. Во всяком случае, она не менее умна, чем он. Вы в этом убедитесь сами. Никто так не умеет читать между строк "Правду", как Клавочка. Она раньше всех понимает, когда следует ожидать улучшения или ухудшения наших отношений с Америкой. Если пишут "государственный секретарь США совершает тогда-то поездку по ряду стран Европы и Азии", то следует ожидать хорошую погоду. Но если же статья называется "Дальневосточный вояж С.Венса"— все плохо. Или там поймали наших шпионов, или кто-то убежал прямо из балета в политическое убежище, или нам больно наступили на хвост в какой-нибудь части света. Но я буду краток. Мы и так говорим ужа четыре часа.

Три года тому назад меня вдруг просят срочно уйти на пенсию. Почему? Потому! Уходите, мы вас проводим. Из-за вас, Иванов, работой треста заинтересовались "органы". Зеленый наряд города теперь будет подчинен им.

Так что же случилось? Слушайте, товарищ Ланге, и поражайтесь. К нам ожидался приезд Сулова. Приезда этого сталинца мы, правда, ждали уже три года. И каждый год, месяца за полтора до этого волнующего события, обком и горком начинали трясти нас за плечи, чтобы мы ни на минуту не забывали об этом, чтобы нас лихорадило дома, на службе и при перемещении между ними. За эти три года мы — граждане — своими силами бесплатно, разумеется, залатали проезжую часть многих улиц, покрасили столбы, развесили плакаты "Слава труду!" и "Мы любим наше родное правительство!" и "Мы живем в первой фазе коммунистической формации!" — Л.Брежнев", и так далее. Мы выловили и посадили при этом массу хулиганов из молодежи. Мы отремонтировали и покрасили дважды ряд учреждений на главной улице. Теперь это проспект Космонавтов. Сначала он был Большой Троцкистской. Затем — Педагогической, потому что на ней в гимназии учился то ли Бухарин, то ли Каменев. Вскоре ее переименовали в Красноармейскую, но в связи с расстрелом маршалов на всякий случай переделали в Первую колхозную. Этой улице не везло. Она носила имена Индустриализации, Энтузиастов, Лемешева, Козловского, Чайковского (это было при первом секретаре обкома — любителе музыки), она называлась улицей Победы, а во времена Никиты мы ее звали "Догоним-Перегоним", ибо на каждом доме жильцы, по приказу милиции, вывесили лозунг насчет обгона и перегона Америки по мясу и молоку. Когда Никиту сняли и в магазинах не стало даже хлеба и крупы, в город приехала космонавт Терешкова. Так улица стала проспектом Космонавтов. И вот опять слух: едет Сулов. Не приехал по причине операции в мозгу. Хорошо. На следующий год опять нервотрепка: едет! Но его нет. Якобы вырезали одно легкое. И снова он едет. И снова никого нет. Как будто бы Сулову пересадили сердце от попавшего под машину диссидента. Такой был у нас

слух. Хорошо. Поправился Суслов. Портреты его в газетах были. Орден он получил. С Брежневым целовался, на этот раз вроде бы собрался к нам всерьез. Затрясло город. Три дня подряд выходили мы после работы на субботник. Все в центре вылизали, алкоголиков, подписантов, ряд студентов и активно верующих в Бога посадили на время в психушку и в КПЗ. Но самым главным делом было озеленение нашим трестом проспекта Космонавтов. Обком приказал вырыть тополя, которые как раз облетали в тот момент пухом, и пух мог вполне влететь случайно в глаз, в ноздрю или в легкое Сулова. Вместо тополей нас обязали в недельный срок посадить акации и розы. Я лично летал в Сухуми за деревьями и цветами, чтобы предупредить возможные денежные махинации при покупке зеленых насаждений. Как я понял, директор дома творчества писателей — ужасный прохиндей и матерый ворюга, положил деньги за розы и акации в свой карман, хотя наш расчет был безналичным.

Хорошо. Везем автомашинами покупку. Мучаемся, поливаем корни растений водой, следим за каждой веточкой. Прибываем. Коммунисты вышли все, как один, на высадку во главе с первым секретарем. Посадили розы и акации. Три дня остается до приезда самого. Завезли в связи с этим кое-какие промтовары в город и продукты. Пошли очереди и драки. Ведь в нашем тресте основная рабсила — женщины, работают они на улицах и на бульвариках, при школах и детских садах и, конечно, первыми узнают, куда что завозят, где выбрасывают мясо, когда и по сколько будут давать колбасы, соленой трески, масла, консервов "Сайра", детских колготок, синтетических кофты, зимних сапог, туалетной бумаги и так далее.

И вот, эти сволочи-бабы целых два дня, когда надо было поливать акации и розы, а стояла чудовищная к тому же жара, носились как угорелые по магазинам, отоваривались, чем могли, и напоследок устроили драку в главной аптеке из-за ваты.

В общем, вышла беда. Едет Суслов в открытой "Чайке" с аэродрома. Въезжает на проспект Космонавтов, слабо машет

лапкой народу, а народ глядит во все зыркалы на большого начальника, у которого легкого одного нет, сердце диссидента погибшего бьется пламенно во впалой груди, седой весь, губы тонкие поджаты, покашливает.

А акации, между прочим, пожелтели и завяли от жары и чужой почвы за те дни, что бабы бегали как угорелые за мясом, ватой, туалетной бумагой и не поливали ни черта ни деревьев, ни роз. Более того, милиция задержала нашу бригадиршу Пырину на рынке при продаже срезанных с кустов роз.

Сулов и спросил у секретаря обкома, что это за деревья растут на улицах и странно при этом так выглядят. Ну, секретарь, не будь дубиной, сказал, что это желтые акации. Он и соврал и сказал чистую правду. Не политые деревья за несколько дней совершенно пожелтели и пожухли. Сулов и подумал, что так и следует выглядеть желтым акациям в жару, а секретарь обкома после его отъезда завел на наш трест дело.

Как вы думаете, кто оказался главным виновником гибели деревьев и роз, не говоря уже об изведенных на дрова тополях? Я! Да! Я! Какой-то инструктор горкома доказал, что я морально разлагался и пьянствовал по дороге из Сухуми и не обеспечил растениям при перевозке условий для дальнейшего существования. Обо мне появился в горгазете "Заря коммунизма" фельетон, где намекалось на то, что "наши липы и тополя, дубы и березки должны находиться в родных руках русского человека. Он их вспоит и вскормит, в отличие от того, кто продолжает губить русский лес". Представляете? Я жил всю жизнь без женщины, с одной мечтой сделать город зеленым и вот — на тебе! Я — вредитель! Я — сионист! Я — пьяница и развратник! Из-за того, что наши водители блудили по дороге с попутчицами.

Хорошо. К чертовой матери ухожу из треста. Чуть не умираю на общем собрании, где от меня требуют послать телеграмму Голде Меир с требованием прекратить вызывать евреев из СССР. Слава Богу, что на собрание в умном предчувствии, чем это все для меня пахнет, пошла Клава. Она вдруг берет меня за руку, тащит к выходу и громко говорит инструктору горкома:

— Стыдно унижать честного человека! Стыдно сваливать с больной головы на здоровую! Стыдно нагло врать!

Она тут же заставила меня позвонить в Иерусалим родному брату, с тем чтобы он прислал немедленно вызов всей нашей семье. Вызов пришел. И тут моя умная Клава говорит:

— Мы уедем, но не раньше, чем вылечим все наши болячки. За границей лечение стоит так дорого, что надо сэкономить. Раз они, сволочи, поступили с тобой по-хамски за все, что ты им честно наработал, мы тоже возьмем напоследок свое. Я им покажу! Они у меня попляшут! Если бы эти коммунисты брали пример с тебя и не были бы в жизни хапугами и циниками, то наша страна не докатилась бы черт знает до чего и не обросла бы ложью с головы до ног.

И вот, благодаря Клаве мы всей нашей семьей приступили к бесплатному медицинскому лечению. При этом мы взяли "Неделю", эту грязную по части обличения Запада газетенку, которой мы, к нашему несчастью, раньше доверяли. Там была таблица стоимости в Америке лечения различных болезней и операций, начиная с удаления угрей и кончая пришиванием оторванной в аварии левой ноги.

— Сначала, — сказала Клава, — надо взяться за болезни, которые в нас скрыты, но в любую минуту могут дать о себе знать.

— Хорошо, — сказал я, и она развила бешеную деятельность. Сначала она притворилась, что у нее приступ аппендицита. Ее увезли, и в больнице она настояла, чтобы ей вырезали аппендикс. Вырезали. Затем таким же макаром, хотя я этого не хотел, аппендикс вырезали и мне. Сделал я операцию только ради моей Клавы, которую люблю больше жизни. Дети же с радостью легли в больницу. Им было приятно не ходить в школу, получать от родителей сладости и избавиться от занятий по физкультуре. Хорошо. Сели мы с Клавой подсчитывать, сколько мы сэкономим на одних аппендицитах. Вышло что-то около четырех тысяч долларов на всю семью. Согласитесь, товарищ Ланге, это немалые в наше время деньги. В Америке четыре тысячи — автомобиль. Чудесно.

Затем Клава и я взялись за кожных врачей. Я лечил ноги от потливости, а Клава удалила с шеи жировик. Мы сделали

на всякий случай рентгенограммы всех частей тела, электрокардиограммы сердца и сосудов, всесторонний анализ крови, мочи и кала. Мы целый год ходили на физиотерапию и убедились, что в Америке нам не хватило бы никаких денег на оплату осмотров и процедур. Теперь-то я понимаю, что Клава моя из-за меня единственно и из-за сочувствия ко мне приняла решение уехать. Но сама она как русская женщина, любящая язык, книги, песни и душу своей родины, затосковала и делала все, чтобы откладывать и откладывать подачу документов в ОВИР. И она находила все новые и в себе и во мне, и в детях болячки и хворобы. В горздраве Клаву боялись как огня. Она писала в "Правду", что ее и нашу семью не хотят лечить из-за того, что я еврей и придется сообщить об этом в ООН. После этого для нас были открыты двери поликлиник, диспансеров и больниц.

Прошел год. Пропал один вызов. Нам прислали второй. Меня в психдиспансере за это время отучили курить и грызть ногти. В Америке, сказала Клава, это нас разорило бы в доску. Кроме того, мы каждый день ходили в течение полугода на физиотерапию. Нас укрепляли током, ваннами, массажем, душем Шарко, физзарядкой и прочими делами. Клава сделала также операцию. Ей удалили участки вспухших вен на ногах, и они превратились в огурчики. Наша любовь, не буду скрывать, с годами становится еще нежнее и горячее, что даже странно в таком возрасте.

Едем, говорю я Клаве, едем, хватит уже лечиться! Нет, отвечает она, не хватит. Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И она взялась за мой геморрой. С ним вполне легко жилось. Врач сказал, что он еще не встречал людей с идеальной прямой кишкой и абсолютно беззаботным анусом, но Клава уговорила врача положить меня на стол. Вспоминать об ужасно тяжелой операции не стоит. Мне и сейчас легче стоять, чем сидеть.

Ну что еще, спрашиваю, резать будем, Клава? Гланды Валере, говорит, непременно удалим, а Милку подержим с полгода в корсете. У нее сутулая фигура. В Америке с такой осанкой нечего делать. Ты с ума сошла, говорю, ждешь еще

полгода! Мы на пенсии. У нас нет никаких сбережений. Мы все проели и истратили на передачи друг другу в больницах, Клава! Не беспокойся, отвечает она, у нас есть деньги и на жизнь и на отъезд, если мы в конце концов уедем. Откуда? — говорю я. Это — тайна, говорит Клава. Живи, лечи себя и ни о чем не беспокойся...

Хорошо. Так прошло два года. Милка носила корсет и похорошела, хотя страдала, что мальчишки дразнят ее жопой в арматуре. Валере же удалили гланды и вывели глистов, но так неудачно, что испортили флору кишечника. Он похудел и перестал усваивать пищу. Затем стал поправляться и два месяца провел в кишечном санатории в Литве. Но вы знаете, чему он там научился, бездельник? Он стал онанировать! Да, с этим Валерой в наш дом вошла беда. Я его бил по рукам, я его умасливал, я ему рассказывал все, что с ним будем в зрелости и, как у онанистов сохнут мозги, выпадают волосы, не держится моча, опухают ноги, пропадает память, появляется близорукость и атрофируются мужские силы до того, что взрослые люди не хотят жениться и начинают так себя ненавидеть, что ни о каком доставлении удовольствия самим себе уже не может быть и речи. Бесполезно. Увлёкся парень, как некоторые дети увлекаются марками и моделями машинок. Беда. Клава говорит: подроцит, подроцит и перестанет. Но я не могу понять ее спокойствия. Меня в детстве учили и бабушка, и мама, и папа держать руки подальше от горячего, и вот, вы видите — я еще вполне мужчина в свои годы.

Едем, Клава, говорю я. Так нет. Мы не едем, а Валера ходит в психдиспансер лечить нервы от онанизма. Наконец он успокаивается, а Клава задумала обеспечить себя и меня очками, потому что прочитала в газете "Известия" про пенсионерку, бросившуюся с девяносто девятого этажа небоскреба из-за того, что у нее не было лишних ста долларов на очки минус три в хорошей оправе. Сделали мы себе очки. Мне две пары и Клаве две пары. Ну, что еще? — спрашиваю. Теперь мы возьмемся за зубы. Я прочитала в "За рубежом", что рабочего человека разоряют дантисты: на одну пломбу нужно работать пять дней. Ужас! Хорошо. Мы взялись за зубы. Поставили

мосты, где нужно, запломбировали кое-что, вроде бы все в порядке. Едем? Нет. Я ложусь, говорит Клава, на похудание в Москву. Пришла моя очередь, я ее два года ждала.

Остаюсь один с детьми и узнаю, почему успокоился Валера. Вызывает меня директор школы и говорит: у вашего сына триппер. Нам сообщили из вендиспансера. Он отказывается назвать имя женщины, с которой связался. Кто она, спрашиваю, Валера? Не знаю и не знаю. Она, говорит, затащила меня в кусты на пляже, дала стакан водки, и больше я ничего не помню. Клаве я не писал об этом в Москву на похудание, чтобы она опять полнеть не стала. Вылечили Валеру быстро, и я подумал: в конце концов триппер такая болезнь, как я слышал, что лучше ею переболеть, как скарлатиной или корью один раз и потом жить спокойно до конца своих дней. Все, как говорится, к лучшему.

Вам не надоело слушать? Хорошо. Клава худеет в Москве двадцать второй день. Мне это нравилось, потому что лежащим на похудании не надо носить передачу. Пока в нашем городе соберешь передачу, согнешься в ишачий, извините за выражение, член. На рынок, чтобы застать мясо следует поехать в пять утра. Если придешь в семь, то на том месте, где мясо лежало, уже полевыми цветами торгуют. Принесешь такой букетик Клавочке в больницу и пошлешь вместе с записочкой. А в записочке печально напишешь: "Милая Клава! Ты же знаешь, что я весь мир бросил бы к твоим ногам, но в гастрономе хоть шаром покати — нет продуктов. Поправляйся. Завтра я заведу будильник на четыре часа утра". А Клава отвечает: "Не волнуйся за меня. Лучше проверь есть ли у тебя радикулит". Я пишу: "Клава! Как я его проверю?" Она отвечает: "Подними что-нибудь тяжелое и резко повернись на одном месте. После этого мы будем подавать. Целую".

Хорошо. Я обрадовался, что мы скоро пойдем в ОВИР, нагнулся дома, приподнял в обнимку кадку с огромным фикусом, в ней было не меньше трех пудов, резко, как советовавала Клавочка, повернулся и упал от ужасной и страшной боли в пояснице. Не могу ни согнуться, ни разогнуться, не могу кашлянуть и сойти с места, и боли этой нельзя обрисовать

словами. Нельзя. Только балет под музыку вальса "На сопках Маньчжурии" мог бы передать эту боль людям. Одновременно понимаю, что это удача, прямая удача. Представляете, что было бы, если бы меня прострелило в Израиле или в Америке. Тут же пришлось бы продавать спекулянтам матрешек, банку икры, водку, фотоаппарат, коралловые бусы, лупы, чернобурку и угроживать доллары на лечение. Я хотел было пуститься вприсядку от такой удачи, но завыл от боли и упал на тахту. Диагноз: остеохондроз. Клава худеет уже сорок один день. Дети без присмотра. Я не могу подняться. Грею поясницу последней в доме гречневой крупой в мешочке. Осторожно шевелюсь. Валера кричит на меня, если я прошу его отнести в уборную судно или баночку. Между прочим, с фикусом ничего не случилось, когда кадка упала.

Наконец за неделю до выписки Клавы, она уже начала пить соки и есть овощные пюре, приходит заплаканная Милка. Что такое, дочка? Милка не отвечает. Рыдает на тахте, плечики трясутся, просто воет во весь голос. Кто тебя обидел? Никто... наоборот... папочка... он меня любит... когда я сняла корсет... он сказал... какая ты, оказывается, красоточка... мне это было приятно... у меня будет ребенок...

Боже! В моих глазах темнеет так, что я думаю не ослеп ли я? Самое дорогое в Америке, как сказали недавно по телевизору, это восстановление зрения после нервной слепоты. Хорошо еще, что я ослеп в СССР. Но это была иллюзия. Я вновь прозрел, но не знаю, что делать с Милкой. Просто в голове не уместилось: соплячке пятнадцать лет, она еще палец сосет перед сном, плачет от страха, когда месячные приходят (я это слышал от Клавы) и вот — на тебе! Она уже хочет ребенка! Зачем на нашу голову мы одели твою проклятую спину, твой злополучный скелет в корсет, зачем? — вскричал я. Лучше бы ты была сутулой и впоследствии горбатой, но не испорченной девушкой. Боже! Куда смотрят учителя и поганый комсомол? Что мне теперь делать, если я не могу встать?..

"Не надо вставать, папочка, не ругай меня. Мы полюбили друг друга навек, как Ромео и Джульетта..." — "Кто эти лю-

ди?" — снова вскричал я. "Стыдно, папочка, не знать... Мы любим друг друга, как вы с мамой... хотя Петя раньше бил меня и ненавидел... теперь все по-другому... но меня вырвало на алгебре и химии, не ругай..."

Вы верите, Давид, во мне душа перевернулась от переживания, и я спрашиваю: "Ты знаешь, чем я занимался в пятнадцать лет? Я таскал кирпичи и зарабатывал деньги. Когда это у вас началось, мерзавка? Когда мама легла на похудание... Ты знаешь, что теперь она так похудеет, что не встанет с койки?" — "Папочка-а-а! Я всех люблю, — орет эта дура, — и тебя, и Валеру, и маму, и Петю-ю!.."

Я собрал все свои силы, прямо как Николай Островский, встал, посмотрел на Милкин животик и грозно сказал: "Это будет твой первый и последний аборт, развратница! Пусть твой битлз не попадается мне на глаза! Я оторву ему женилку!.." — "Папа, мы женимся... иначе я повешусь!.. Вот увидишь, я повешусь!" — "Как ты женишься в 15 лет? Ты понимаешь, что только одно мое слово, один звонок в милицию, и он загремит за порчу малолетних? Скажи спасибо, что я не зверь и не люблю доносить на людей, но я сделаю, я сделаю все, чтобы он жил на свободе и харкал кровью..."

Кстати, боль у меня как рукой сняло. Но надо было что-то делать. Я звоню Клавиному родственнику — большому гинекологу, который видел кое-что пострашней. "Коля, выручай, по гроб жизни не забуду, нам же ехать надо, а в Америке только очень богатым людям под силу рожать и воспитывать детей, недаром бедные продают их миллионерам, я в "Огоньке" читал", — "Хороший ты, — отвечает Коля, — человек, Соломоша, но идиот ужасный, и поэтому я тебя выручу", — "Быстрее, — говорю, — Коля, пока Клавошка не вернулась!"

Ну приходит Коля. Выпили мы, закусили. Он и говорит Милке: "Чтобы тебя не тошнило на уроках, пей вот эти таблетки и через два часа принимай горячие ванны, только очень горячие". Эти ванны были Милке как мертвому припарки. Она от них только хорошела и наливалась, мерзавка, румянцем. Таблетки тоже не помогли. Наоборот, Милку тошнить перестало. "Будем аборт делать", — сказал мне Коля

по телефону. Слава Богу, дело до этого не дошло. Милку погнали в школе на кросс в честь начавшегося в Москве пленума партии. Она, чтобы не возбуждать подозрений, побежала, и на финише ей стало плохо. Кровотечение. Она, к счастью, попала к Коле в больницу, и все было кончено. Так что к тому дню, когда Клава возвратилась с похудания, Милка уже очухалась, сказала мне спасибо и забыла про Петю.

Входит в дом Клава. Смотрит на Милку и все понимает с полувзгляда. А я смотрю на Клаву и ничего не понимаю. Передо мной какая-то молодая стройная дамочка, грудки, как у Нонны Мордюковой, бедро невозможно тугое, нет на бусах янтарных тройного подбородка, щеки бледные, а не лиловые, глаза пошире стали, волосы как-то вспышнели и плечи постройнели.

"Боже мой, — говорю, — ты ли это, Клава? Ты красива, как жена Леонардо да Винчи — монна Лиза", — вскричал я, потому что в те дни по телику шел фильм про великого художника и рационализатора. На меня — ни капли внимания.

"Кто он?" — говорит Клава Милке. "Спортсмен Винчас из Вильнюса, — врет Милка. — Приезжал на первенство страны. Не бей меня, мамочка, мне плохо и обидно. Я больше не буду!.." — "Будешь, — говорит Клава, — но с умом или в замужестве. Тебе ясно?" — "Ясно, мамочка!.." И тут женщины долго рыдали и плакали, обнявшись друг с другом так, что я взревновал и стал ждать ночи. Я и так не переставал любить Клаву, но от ее похудевшей на сорок кило внешности кровь моя неслыханно забурлила и зачесались десны, как у мальчика.

Тут мы хватились Валеры. Час ночи — нет Валеры. Два часа — его нет. Лежим с Клавой и нам не до любви, хотя при закрытых глазах мне кажется, что рядом со мною не Клавоочка, а какая-то другая незнакомая, но тем не менее родная и желанная дамочка, с которой я безобидно изменяю Клавоочке в командировке. И вот наконец является эта скотина Валера пьяный, как свинтус. Клава ни слова не сказала ему в упрек. Всунула свои два пальца ему в рот, он вырвал, она его вымыла в ванной, уложила спать, вернулась ко мне и

говорит: "Он живет с женщиной. Надо ехать, Соломоша, иначе дети тут пропадут. Попала в них зараза времени". — "От времени, — вякаю, — никуда не денешься". — "Все решено, — говорит Клава, — едем, хуже, чем в этой помойной яме, где пьют с двенадцати лет и ебутся с грязными шлюхами, нигде не будет. Едем!.." — "Хорошо, — говорю, — но сначала иди сюда, Клава".

Боже мой! Мы были в ту ночь молодыми людьми — и я и Клава — она клялась мне, что никогда еще за все годы так меня не желала и не получала такого неимоверного удовольствия и что все это от многодневного голода в клинике. Я-таки просто выделял чудеса на видоизменившейся стройной и легкой женушке, пока не изогнулся неудачно в один из интересных моментов и меня не пригвоздила к постели радикулитная заунывная боль...

Утром Валера с похмелья не пошел в школу. Четырнадцать лет человеку, а он уже жлухтает с жадностью огуречный рассол и стонет, пьянчуга, от головной боли. "Ничего, сыночек, — говорит Клава, — вот-вот я тебя вылечу. Подожди чуток, подожди, миленький. Я вас обоих сейчас на ноги поставлю". Звонит куда-то наша мать по телефону. Затем собирает белье чистое, полотенца, вызывает такси и говорит мне: "Вставай, в баню едем". С трудом посадили меня в такси. Приезжаем в баню. Заходим в отдельный номер. Только мы в нем трое, больше никого. Одно из многочисленных Клавиных знакомств. Нас Клава раздела догола в предбанничке, сама осталась в лифчике и ситцевой юбке. Залез я кое-как на полочку. Скорчило меня болью и перекособочило. "Ты, — говорю, идиотка, Клава, жадность твоя вылечить авансом все болячки губит меня. Зачем я проверял этот проклятый радикулит?" Что делать? С одной стороны нас мучают светлым будущим, с другой — будущими хворобами. "Ой, — говорю, — я отсюда уже не слезу, и мой сын — развратная пьяница, а дочь моя — бедная девочка с погибшей молодостью". Тут Клава, поддав с кваском, припечатала меня к полку своими ручищами, лежи, говорит, старая жопа, не вертуйся. И потек еврейский пот из моего тела от великой русской бани. Я

не был новичком в парной, но в этот раз Клава наподдавала так, что обжигало ноздри, рот и припекало лысину. "Лежи, старый, лежи, в Израиле твоём и в Америке баньки такой не будет", — говорит Клава и овеивает меня поначалу двумя венчиками. И не вырваться из-под ее рук, не скатиться с полка от невозможного пекла. Погрелся я, потек как следует и спустился вниз отдышаться. В баньке голову в ледяную водичку окунул. Глотнул маленько.

Валера с мутными глазами, с распухшими губищами тоже прогрелся. Нам, надо сказать, полегчало. И тогда загнала нас Клава собственно париться. Первым улегся Валера. Я стоял в сторонке и не переставал удивляться на Клаву. Не первой, конечно, молодости женщина, но, похудев, помолодела невероятно. Просто не килограммы, а годы скинула. Но я был голый и рядом с Валерой. Поэтому я сказал своим нездоровым мыслям: гей авек, бесстыдство!..

"Я тебе покажу, как пьянствовать, скотина, в твои годы! И не скули, а то сейчас еще поддам. Ты у меня этот день на всю жизнь запомнишь! Что пил? — говорила Клава, разделявая нашего гуляку. — На чьи деньги пил?! Не врать! Ни на чьи?.. Самогону нагнали?.. Ну вот, я из тебя выгоню его. Беги под холодный душ и поваляйся..."

И вот принялась Клава за меня. Не перечислить тут всего, что она творила с моим бедным телом, а я для того, чтобы не помереть запустил руку под Клавину юбку. Сначала Клава меня встряхивала и как бы перебирала косточку за косточкой, каждое ребрышко инспектировала, так что я весь похрустывал, разламываясь и ужасно беспокоясь за душу, обмирающую под ложечкой. Казалось, покинет меня вот-вот душа от пекла и безжалостной костоломки...

— Перевертайся!..

Я лег на живот, и Клава стала выщупывать сместившийся позвонок, черт бы его взял. Кажется, она к нему подобралась, приновилась, и тут я на какое-то время, после внезапного своего крика куда-то провалился от боли. Очухиваюсь. Клава обмывает меня прохладным венчиком и говорит; "Болит?" — "Вроде бы нет". — "А тут?" — "Не чую..." — "А здесь?.." —

"Нет,.. " — "Тогда слезай с полка. Отдохни. Гони сюда балбеса. Он у меня на всю жизнь трезвым человеком из бани выйдет".

Попарила Клава еще раз Валеру. Потом достает из сумки четвертинку мутноватой жидкости, наливает стакан и говорит: "Пей, Валера, опохмеляйся, как положено. С мужем мне повезло. Не пьет он. Зато сын решил стать алкашом. Пей, не то шайкой по хребтине огрею". Да. Клава — она такая. Выпил Валера стакан и остаток от маленькой. Я смотрел и не вмешивался в это дело. Выпил он и закосел. Смеется, как идиотик, язык у него, словно у Брежнева, еле во рту ворочается, чушь несусветную несет, про триппер свой матери проговорился кто хвастает, его не хватал, тот не чувак. Вдруг он схватился за живот, закатил глаза под потолок, зашатался, голова у него, очевидно, закружилась. "Так, так, — говорит Клава, — хорошо тебе, стервец?.." — "Ой, мамочка, плохо, ой никогда больше не буду". И его стало буквально выворачивать. Уложили его прямо на кафель, и он блевал в судорогах в сливную ямку.

Потом Клава промыла ему желудок, на это страшно было смотреть, потом снова пропарила, окатила холодной водой и уложила в предбаннике под чистую простынку, чтобы он слегка проспался. Я забыл сказать, что я тогда забыл про боль. Как будто у меня вообще не возникало радикулита. Seriously. Мне хотелось в моем возрасте париться и париться. Я и парился. Вернее, мы с Клавой, когда наш алкоголик задрых, парились вместе. Уж я ее тоже побил березовым и дубовым. Хрустеть стала моя Клавочка, как спелый арбуз, и я вам скажу, Давид, что когда люди рады друг другу, когда они совместно счастливы, то им на годы наплевать. Каждому возрасту, я считаю, дано свое удовольствие. Но если, конечно, ты устроен так, что жена не перестает тебя будоражить, то и не стесняйся, разворачивайся во всю. То, что было у нас в бане, поверьте, Константин Симонов не смог бы описать. Дай Бог, чтобы так хорошо было всем людям — и рабочим, и служащим, и банкирам, и маршалам, и Аркадию Райкину, и даже членам политбюро — черт с ними, пусть живут, раз они все-таки людьми родились, а политработниками их жизнь сделала, черт с ними. Правда Давид?

Больше я Иванова на плёнку не записывал, а рассказ его все же слегка отредактировал. Он немало чуши тогда напорол. Странная в нем, как и в его Клаве, была смесь ума и дурости. Упаковал я их. Притырил, как надо, Клавины цацки: два кольца, чудесный браслет и заколку с изумрудом — все, что от матери осталось. Только не думайте, что Иванов так быстро после той бани подал документы.

Они уже собирались нести документы в ОВИР, когда позвонил из Москвы двоюродный брат Иванова и сообщил, что в ближайшие месяцы ожидается ужасная пандемия гриппа-гонконг. Клава, конечно, обрадовалась и сказала: пандемию переждем здесь. А Иванов по-бухгалтерски быстро подсчитал, во сколько им четверым обойдется лечение гриппа и возможных осложнений за границей. Цифра вышла чудовищная. Три месяца эта семья сидела на чемоданах и прислушивалась к температуре, состоянию носоглоток и к прочим симптомам. За это время Клава успела сделать себе (за деньги) пластическую операцию. Ей подтянули морщины на лице и шее и сняли с пуза приличный шматок жира.

Надо сказать, что Валера, как только видел водку или портвейн, выскакивал из-за стола: его тянуло рвать. А Милка забыла про любовь начисто, словно ее не лишили невинности. Она даже написала в школе сочинение на вольную тему: "Все мужчины сволочи, которые любят сорвать цветочек". Ей поставили двойку и вызвали Клаву в школу. Дирекция сочла, что Милка развращает (как познавшая раньше всех половой порок) своих подруг и школьных мальчиков. Таким не место в школе и институте. Она получит волчий билет. Клава плюнула на стол директора школы и ушла.

Через три месяца после этого они получили разрешение. На следующий день Иванов позвонил мне с просьбой упаковать и отправить его семью, что я и сделал. Повез вещички в Брест на досмотр. Сунул там тышчонку кому надо, и запаровозили Ивановы благополучно в Вену. А багаж их поехал в Израиль.

Клава — молодец. Она увезла все до последнего гвоздика, даже почтовый ящик с замочком взяла. И денег на отъезд

порядочно поднакопила. Вы спросите откуда они у нее? Я вам отвечу: эта потрясающая женщина играла с государством в "Спортлото" и неизменно выигрывала. Непонятно, что за способность угадывать не менее трех цифр была у нее, непонятно. Но каждую неделю ей присылала сестра из Москвы не менее ста карточек, и Клава их заполняла. Дважды — хотите верьте, хотите нет — она угадывала по пять цифр. Это уже состояние. А по три и по четыре чуть не в каждом тираже. Мне бы ее фарт, а также и вам, дорогие.

Кстати, я от всей души уговаривал Иванова не ехать. Но он стоял на своем: я достаточно наунижался за свою жизнь, дети мои с согласия матери решили записаться в паспортах евреями, я не хочу с ними спорить, и я не хочу, чтобы они испытывали недоверие, разные слова, обиды и прочие антисемитские штучки. Я никогда не считал, будучи бухгалтером простым, что меня непременно должны любить как еврея другие люди. Нет. И я всегда считал ниже своего достоинства выклянчивать эту любовь, как поступают некоторые. Я не нервничал вроде них, хотя мне такая нервозность понятна, когда в ничего не значащем замечании или дурацкой реплике они ищут и именно поэтому находят антисемитский смысл. Я добродушно проглатывал подъебку, поскольку сам ловил себя временами на том, что хохочу от армянских анекдотов, поддерживаю беседы о ненависти хохлов и поляков к русским или обсуждаю грузинское и азербайджанское засилье в торговле цветами, овощами и фруктами. Все мы, скажу я вам, хороши по части неуважительного отношения к другим нациям, все. Но однажды я прочитал в "Правде" волнующую статью в защиту права населения какого-то малюсенького тихоокеанского острова на самоопределение и независимость, где были слова: "руки прочь!", "народы мира встанут на защиту!", "нет таких сил..." и прочая белиберда. Рядом с этой статейкой была другая, непрозрачно намекавшая, что у еврейского народа нет никакого такого права на историческую родину, потому что якобы еврейского народа не существует вообще, а есть лишь еврей-труженики и евреи — владельцы мирового капитала. Стошнило меня от этой логики. Грязно я

от нее отрыгнул и вспомнил всей своей шкурой, что я умело забывал, все, что я уничтожил в своем уме еще до того, как оно прочно засело в памяти и начало беречь душу, мешая с хорошим настроением относиться к людям и работе. А ведь до Клавы я жил исключительно жизнью других людей и бухгалтерской работой в тресте горозеленения.

Короче говоря, я больше не желаю ни у кого одалживать пространство для жизни. Не знаю, как вы, а я расплатился с неплохими процентами для советской власти. Работа с юных лет, пятилетки, будь они прокляты, фронт, два ранения, и не в спину, заметьте, а в грудь, ничтожная зарплата и почти вся жизнь в коммуналке.

Если бы не Клава, я после себя оставил бы четыре стены, брюки, пиджак и кое-что из посуды. Здесь прошла моя жизнь, здесь я встретил двух женщин, но отдать концы я хочу там, где никто меня не попрекнет, что я занял неизвестно на какой срок один квадратный метр могильной площади. И не желаю я больше выискивать, как мой двоюродный брат, в списках награжденных и всяких лауреатов еврейские фамилии. Не желаю перечислять по пальцам знаменитых евреев, не хочу с хрипотой в горле кричать, что это мы дали миру Карла Маркса. Думаю, что вообще насчет Карла Маркса нужно не кричать, а помалкивать. Кого он накормил? Меня или председателя горсовета, начавшего брать взятки за жилплощадь бриллиантами? Может быть, он Кубу накормил или китайцев?

Мы с вами их кормили и кормим из своего кармана, поверьте мне как бухгалтеру. А зачем мы их кормим? Мы их кормим для рекламы нашему бородатому вундеркинду.

Хватит. Я не хочу гордиться Эйнштейном и Иосифом Кобзоном, которого я знаю лучше, чем физика, я буду думать до конца своих дней о тех, кто скитался по миру две тысячи лет и остался неизвестен. Плевать мне на национальную гордость. Пусть лучше память и сострадание живут в моей душе. Громче всех гордятся обычно те, которые неспособны ни на что другое. А за свой единственный в жизни грех, за то, что я мешал в домах отдыха половым сношениям простых людей, я наказан: видите — нет одного зуба.

И, если Бог послал мне Клавочку, значит, я имею право думать, что я не худший и не несчастнейший из людей. Я, кстати, взял Клавину фамилию не из-за того, что маскировался. Я хотел сделать ей приятное. Иванов — это молодая, многообещающая еврейская фамилия. Не правда ли?

Так напоследок сказал Иванов... И давайте, дорогие, покончим с моим знакомым.

Мы остановились, если вы не забыли на том месте, где я врезал с железной правой в бородатую челюсть людоеда Михея. Врезал и искал глазами полотенце, чтобы удавить гада. Меня не трясло от ненависти, я не испытывал ее. Я чувствовал животную необходимость уничтожить злодея, но непреодолимая, тошнотворно подступившая к горлу гадливость и какой-то ужас, охватывавший меня только в детстве, в миг изведения паука, мокрицы или многоножки со света, мешали мне превозмочь внезапную слабость в груди. И когда я сдернул со спинки Михеевой койки серое вафельное полотенце (свое, прекрасно помню, побрезговал) и шагнул к этой сволочи, ноги мои подкосились.

Очнулся я оттого, что задыхался. В первое мгновение мне показалось, что рот мой заткнут склизким горячим кляпом, и вы никогда не представите, что я испытал, когда сообразил, что это никакой не кляп, а Михей приник к моему рту людоедским, заросшим бородицей ртом, стараясь привести меня в чувство своим гнусным, но спасительным для моей жизни дыханием. Я не мог от слабости оттолкнуть его, а он не мог не почувствовать, что я оживаю и смочил мои виски мокрым полотенцем, которым я собирался его удавить. Он молчал, но в глазах его и в низком лбе, прорезанном глубокой морщиной, по которой стекала капля пота, мрачно и упрямо сосредоточилось желание возратить меня к жизни. Я отвернулся от его рта, и тихое, теплое, жизненное блажество постепенно наполняло все мое тело.

— Слабак, Давид ты, слабак, — проговорил Михей, когда я, шатаюсь и держась за спинку кровати, перебрался на свое место и лег. — Что же ты меня не угробил? Я бы тебе спасибо,

возможно, сказал на том свете. Как думаешь, имеется он в нашем распоряжении?

Я молчал, закрыв глаза. Меня несколько не занимали слова Михея.

— Молчи, хрен с тобой. Но добром за добро ты отплатить обязан. Я тебя откачал, ты уж было холодеть начал, а ты меня все же пореши. Оклемайся и пореши. За меня такого никто тебя не осудит. Я же тебе не все рассказал и прояснил. Ты еще кое-что услышишь. Не поверишь, но все оно так и было. Про каждого убиенного тебе расскажу. Расскажу, как чуяли они бывало, что час ихний близок, но не могли понять подсказки свыше и маялись ужасно от смертной тоски, самогонищем-обормотом заливали ее. Мне же и бабе моей большой интерес был от такого подгляда. Нам-то как-никак все ясно, а им муторно в неизвестности и последней маяте. Во как! Мне и про себя сейчас вот все ясно. Только ждть неохота, когда подохну. Тошно ждть...

Нет, думал я, раз удержала меня судьба от самосуда, то второй раз я уж на тебя руки не подниму. Я сейчас следователя вызову и все, что ты говорил мне, повторю слово в слово, все факты передам, обстоятельства и фамилии. Вот только смогу встать и вызову.

— Очень тошно ждть, — повторил Михей.

— Удавись, — искренне посоветовал я.

— Ну уж — хуюшки! Не дождешься!

Из каждого людоедского слова перла такая ненависть, такое зло ко всему белому свету, что я представил, в каком прижизненном аду живет Михей и его душа, если таковая имелась, и испытал мстительное злорадство.

— Не можешь удавиться — расколись следствию, — сказал я.

— А вот этого вы тоже не дождетесь! Не бывать! Нету у людей права судить меня! Сами такие и еще хуже. Да! Хуже! Немало мной продумано про это. Но мне плевать на ваши грехи! Не легче от них, провалитесь вы все пропадом!

И тут, слава Богу, я почувствовал, что нечего его мне судить. Он уже судим, и сжирает его изнутри долгой предсмертной тоскою и могильным холодом казнь. И ничего я никому

не скажу, чтобы не приблизить тебе, сволота, суда людей, возможного расстрела и избавления от минуток жизни, которые тягостно тянутся для тебя с утра до вечера и не дают покоя, уверен я, даже во сне, потому что ты воешь и стонешь от каких-то ночных ужасных видений.

Но когда Михей начал на следующий день, понимая, как это меня изводит, вспоминать то, чего я вам не могу больше пересказывать, с такими сводящими с ума подробностями и наблюдениями, я забарабанил в дверь и заорал:

— Сестра!.. Сестра!.. Сестра!

На крик мой в палату быстро явилась завотделением — блондинистая крыса, которая мною раньше вообще не интересовалась.

— В чем дело, больной Ланге?

— Уберите меня отсюда! — нервозно затараторил я. — Если не уберете... не знаю, что будет... вены себе перережу... вы меня лечите или с ума сводите?

— Судя по вашей реакции на соседа, лечение продвигается медленно. Больным не предоставлено право выбирать себе больничные условия. Вы не в санатории. Сейчас вам дадут успокаивающее!

— Позвоните вашему "профессору" Карпову и скажите, что у него будут со мной осложнения, — закричал я. — Вы все сволочи и садисты! Садисты и преступники!.. Фашисты! — орал я, чувствуя, как мне легчает от крика.

Крыса, не вступив со мной в спор, ушла. Вместо нее прибежала с таблетками коротко стриженная сестра с желтым лицом.

— Выпейте, Давид Александрович, — сказала она, и я, решив, что действительно не мешает успокоиться, выпил таблетку, запив ее теплой водой, и сказал, поскольку мне показалось, что в глазах сестры промелькнуло на миг человеческое сочувствие:

— Садизм — держать нормального человека рядом с этой мразью.

Михей, между прочим, валялся в одной позе: тупо глядя в потолок. Симулировал, сволочь, отключку и изредка гундосил:

— Парашютики... гы-ы... папамасеньки люкаем... сиказ-вондия парашютиков...

— Что он вас съест что ли? — пошутила сестра.

— Я его съем!.. Понятно?.. Я-я! — завопил я, не сумев сдержаться себя.

— Успокойтесь, прошу вас, — сказала сестра. — Лучше вам не буянить, ясно?

— Я и так в "бублике"! Мне терять нечего, — сказал я. Но внезапно успокоился. Наверно, пробрала таблетка. И тогда я подумал, что мне нужно выдержать единоборство с людоединой, а если он снова попытается изводить меня своими чудовищными байками, я ему сделаю так больно, что и подохнуть он не подохнет и существование ежедневное проклянет. Не дам я себя изводить, не дам!

Я, почувствовав возвращение сил после обморока, подошел к Михею, применил, ни слова не говоря, один старый прием, как в разведке при взятии языка, и, пока Михей лежал с побагровевшим лбом, с высунутым языком и глазами, вылезшими из орбит, не столько от боли, сколько от ужаса, я его твердо предупредил:

— Если ты еще раз откроешь свою пасть, паскуда, получишь то же самое. Я не шучу. Довести меня до того, что я тебя прикончу, — не доведешь. Не пожалею я тебя и греха на душу не возьму. За то, что привел в сознание, спасибо. Дошло?

Михей с готовностью задергал, закивал своей башкой, одолевая удушье. Отдышался. Уткнулся лицом в подушку и тихо завыл: он плакал. Плакал зверь, а в сердце моем начало шевелиться чувство, опередившее ехидное мстительное злорадство.

— Сплю я, — говорю, — чутко. Не пытайся свести ночью счеты со мною. Жизнь тебе покажется тогда непереносимой пыткой. Все. На воды, выпей и гундось себе про папамусеньки и парашютики.

Больше Михея не было слышно. К вечеру за мной пришли санитары: бывший участковый, расстрелявший семью и туповатый верзила. Взгляд у него был неподвижный и мутный.

— Вставай. Пошли, — сказал он.

— На расстрел, — весело добавил участковый. — На эту его обычную шутку никто в психушке уже не обращал внимания.

И вот — новое свидание с Карповым. Глаза у него были воспалены то ли от бессонницы, то ли от пьяни. Смотрел он не на меня, а куда-то в сторону, и мне ужасно захотелось сказать: "Ну, что? Хероватенькие у тебя дела, жандармская скотина?" Однако я промолчал, без приглашения сел на стул и с беззаботным видом стал глазеть по сторонам.

На этот раз меня привели в партком психушки, завешенный, как и все парткомы, лозунгами, фотографиями членов политбюро, диаграммами насчет развития промышленности и сельского хозяйства области и заставленный гипсовыми бюстами спасителей человечества — Маркса, Энгельса, Ленина и почему-то писателя Шолохова. А все-таки тиснул он, а не сам сочинил "Тихий Дон". Наверняка тиснул. Невозможно для всамделишного писателя, повидавшего столько, сколько повидал автор "Тихого Дона" и так замечательно описавшего все это, наблюдать, как Шолохов, с позорным и бездарным равнодушием за кровавой историей своей Родины и ее народов. Наблюдать, жрать, пить, ловить стерлядку, стричь купоны, получать премии, фиглярствовать всю жизнь, как площадной дешевке, с трибун собраний и съездов и помалкивать. Быть может, думал я, пока Карпов барабанил по столу пальцами "На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы", быть может, Шолохов подобно многим самиздатчикам, сочиняет нечто грандиозное, типа "Архипелага", но только о жизни советских людей на так называемой воле и держит до поры до времени в ящике стола трепетные, правдивые, написанные кровью листки? Возможно, в какой-то миг он прекратит многолетнюю маскировку и покажет миру собственное лицо, приведя этим самым в содрогание и ужас своих всесильных покровителей из ЦК и карательных органов, и даст людям, изголодавшимся по описанию реальной житухи, жестокое, но помогающее осмысленно существовать, слово?

Кто знает, думал я, может, в этот самый момент принимает Шолохов в своем богатом имении на берегу многострадальной реки какого-нибудь замечательного западного деятеля типа архиепископа Кентерберийского, либо Анджелы Дэвис, за освобождение которой из проклятой вашей, дорогие, тюрьмы, я пять раз голосовал на заводских митингах.

Принимает он их, поит водочкой, подкармливает стерлядкой, давно занесенной в "Красную книгу", маскируется, как всегда, диссидентов и нашего брата — жида — обвиняет во всех неудачах строительства мировой коммуны, а потом говорит Анджеле Дэвис:

— Иди-ка сюда, Анджела.

Заводит ее Шолохов для пущей маскировки от магнитофонов и членов своей семьи в сортир. Не бойся, говорит, товарищ Дэвис, у меня давно от переживаний и опасной работы не действует женилка. Закрывает дверь на ржавый крюк, достает из-за пазухи здоровеннейшую рукопись многолетнего своего труда под названием "Война и мир, или зачем они сражались за социализм, партию и справедливость?" и поясняет шепотом: "Увези ты это дело в Америку, Анджела, на животе, чтоб труд всей жизни не пропал для меня и людей. Отдай его там у себя в печать, а все гонорары направь сюда, в наши тюрьмы закрытые, в лагеря трудовые и в психушки для помощи политзаключенным борцам за права человека, для писателей посаженных, поэтов, художников и прочих Иванов Денисовичей невинных. Если же обшмонают тебя, сволочи, на таможне, беги в аэропортовский сортир и быстро спускай роман в десяти пятилетках в унитаз. Можешь съесть его частично, чтобы он не достался живым кагэбэшникам, следящим за каждым моим шагом и отравляющим мою пищу спецтаблетками, убивающими в больших писателях талант и совесть, но не убивших их до конца. Так и передай всем простым людям доброй воли и, главное, заблуждающимся насчет смысла российской истории некоторым либеральным интеллектуалам. Отечественная словесность, дорогуша ты моя, тебя не забудет. Ступай, позови сюда епископа облапошенного. Я ему свой последний донской рассказ притырю под рясу".

— О чем сейчас вот вы думаете, Ланге? — спросил меня Карпов. — Хотелось бы услышать правду.

— Думаю, — говорю, — как Шолохов передает свой антисоветский роман-эпопею на Запад и, что надоело ему маскироваться, — сказал я.

— Хорошо. Отложим шутки в сторону. У меня к вам серьезный разговор. Если поведете себя разумно, вас освободят и разрешать уехать вместе с сыном. С нами лучше по-хорошему. Мы не будем вас преследовать ни за хранение антисоветских материалов, ни за организацию провокационных поездок рабочих и служащих в московские магазины за продовольствием. Договорились? Вы должны как советский человек с безупречной репутацией рабочего и фронтовика понять, что органы, прочитав чудовищную антисоветчину в амбарной книге, не могли не заинтересоваться ее автором. Ясно, что это не вы, что это высказывания или одного или нескольких человек. Мы догадываемся, кто один из них.

— Кто же это? — спросил я.

— Ну, зачем финтить, Ланге? Ну, что вы враг самому себе и вашему сыну?

— Мой сын ни при чем.

— Я не имел в виду его авторства.

— А кого же вы имели в виду?

— Пескарева. Старого антисоветчика и вашего близкого друга.

— Дальше что?

— Хотите прочитать его показания. Он же сознался.

— Только не надо, — говорю, — Карпов, чесать у меня за ушами и кормить помоями. Я не боровок. Когда ты в школе стучал на дружков и учителей, я на хорошем немецком языке допрашивал собственноручно взятых в плен вояк. Не надо чесать у меня за ушами. Да и на следствии меня научили, как надо себя вести.

— Кто же?

— Мало ли народа отсидело, взять хоть наш цех, — сказал я. — Не морочьте зря голову себе и мне. Моя голова уже пробита вашими рыцарями революции. Лучше зовите Пескарева на очную ставку.

— Хорошо. Забудем на время о Пескареве. Мне нужно знать, кому принадлежит антисоветский стишок, посвященный замечательному прошлому поэту Тютчеву: "Пора, мой друг, ебена мать, умом Россию понимать!" Кто его вам декламировал? Стишком заинтересовалась Москва. Советую не артачиться.

— Пишите, — говорю, сдерживая смех, — всю правду скажу. Когда меня освободят?

— Не освободят, а выпишут. Освобождения вам бы долго пришлось ждать.

— Записывайте. Шолохов этот стишок сочинил.

Карпов быстро стал заполнять протокол допроса, не обратив в первый момент внимания на фамилию Шолохов.

— Имя, отчество, адрес.

— Михаил Александрович, — говорю, — станица Вешенская.

— Область?

— Ростовская.

— Дом?

— Восемь. Квартиры нет.

— При каких обстоятельствах познакомились?

— В доме отдыха, — говорю, — в палате разговор был. Выпили мы с мужиками. Один и говорит, он недавно помер, что же это, братцы, за штука? Шестьдесят лет морочат нам головы сказками о светлом будущем, все теперь есть у нашей страны — колонии, вроде, как у Англии они были, бомбы есть водородные, ракеты, корабли, подлодки атомные, все, одним словом, имеется для уничтожения империализма и самих себя, друзей к тому же полным полно у нашей страны на шее и за пазухой, а жрать нечего. Вид же в газетах делается такой, что одна лишь у нас нерешенная проблема: борьба с сытостью мещанской, с газами в пузе и с обжорской отрыжкой изо рта. Как все это, братцы, рассматривать? В каком историческом разрезе периода времени? С чем же заявимся мы, если, конечно, заявимся, в то самое светлое будущее?

Тут встает с койки человечинко с фальшиво-высоким лбом в фальшиво-скромной гимнастерке и произносит,

посасывая чубучок, те самые слова из амбарной книги: "Пора! Пора, едрена мать, умом Россию понимать!" Вот так, — говорю. — Это и был Михаил Лексаныч Шолохов, больше ничего по существу дела пояснить не могу.

Карпов отвлекся от моего лица. Быстро и деловито достал из папки бумагу, и эти решительные, осмысленные движения страшно не вязались с отсутствующим взглядом его внезапно воспалившихся желтушных глаз.

— Твое счастье, Ланге, что ты и твои дружки многое учли и кое в чем нас упредили. Твое счастье. Пиши здесь собственноручно, что нет у тебя претензий к персоналу больницы, что, потеряв сознание на улице, ты был сюда доставлен и выздоровлен. Ясно?

— А потом что? — спросил я, предчувствуя счастье освобождения и уже обращая душу с благодарностью к Богу.

— Потом мы тебя вытурим к чертовой матери не только из нашей области, но и из всей страны, потому что ты — сволочь, враг и сионист. Пиши. Мне надоело с тобой возиться. Все, что ты наговорил, будет нами проанализировано. Думаешь, я олень? Пиши.

— Я ничего не подпишу, — сказал я. — У меня нет, к сожалению, прямых доказательств, что мое избиение и арест — дело рук твоих, Карпов, гавриков, а то бы я в суд подал, мне терять нечего, но врать, однако, не стану. Это все. Ты мне сам надоел. А если погорел — извини. В следующий раз законность соблюдать будешь.

И тут вдруг Карпов, к моему изумлению, схватился за живот, выпучил глаза желтые полубезумные и надулся, желая разрешиться хохотом, но расхохотаться не мог, хватал ртом воздух, и в груди его, как раскаленные, шипели бронхи. Я не знал, что делать. Налил из графина воды. Поднес ему, влил немного в рот, но Карпов только поперхнулся водою и закашлялся. Я был уверен, что он или уже сошел с ума или начал сходить от невозможности понять, что же это происходит. Какой-то пархатый старый жид порет то, что он хочет, а Карпов вынужден выслушивать его жуткие антисоветские бредни, кошунственный призыв "пора, пора, едрена мать, умом Россию понимать".

— Слушай меня внимательно, Ланге, — вдруг говорит Карпов. Он снова приосанился, словно сидел у себя в кабинете и барабанил по столу американский гимн. Да, дорогие, ваш гимн. Я не мог ошибиться. У меня чудесный слух и хорошее чувство ритма. Все же я замечательный карусельщик и понимал свой станок, как Ростропович свою чудесную мандолину. Мне было очень весело. Сам не знаю почему. И я стал набарабанивать пальцами "союз нерушимый республик свободных..."

Нехорошо хулиганить, Ланге, не-хо-ро-шо. Прекрати напевать про себя сионистскую музыку! — спокойно и внушительно сказал Карпов.

— Я, — говорю, — наш напеваю гимн.

— Лжешь! Я все гимны наизусть знаю. Я их глушил лично, когда служить начал... "Нас вырастил Сталин на верность народу. На труд и на подвиги вас вдохновил", — по-отечески пояснил Карпов. Я окончательно почувствовал, что он "поехал".

Сейчас я перескочу через то, как меня привезли в управление, как я изумлен был переменившимся отношением, как я соображал нет ли во всем этом какого-нибудь паскудного подвоха и так далее.

Поверьте мне, дорогие, ничего я так страстно не жаждал и не ждал за все прожитые годы, как свободы в те минуты. Свобода! Свобода!

Даже в молодости, когда уже чувствуешь, что уговорил красотку какую-нибудь, что сдалась она, что сейчас настанет миг, по сравнению с которым все предвосхищения ума кажутся бледными и жалкими, не билось мое сердце так неистово и сладко, как в те благословенные минуты. Разве не крайняя степень Свободы — обладание согласной с Вами во всем, славной, открытой женщины? Что вы скажете на это, Сол и Джо? Разве не конечное счастье делать первые шаги из насилия и неволи к свободе, сознавая с горячим стыдом и чистым раскаянием, как ничтожно мало бываем мы благодарны за нее жизни, потому что все истинно ценное в существовании принимаем до поры до времени за неотъемлемые свойства самой жизни, и полная их мера открывается нам, к несчастью, тогда, когда мы теряем по своей или по чужой ви-

не то любовь, то свободу, то здоровье, то какую-нибудь милую малость вроде сердечного расположения друга.

Я не знал, как раскрутились события после передачи о случившемся со мною по "Немецкой волне", "Свободе" и другим станциям, я не знал, так же как до сих пор не знаю, имени санитаря, или медсестры, или врача, вынесшего из психушки истории болезней мнимо больных, вроде меня, заключенных, и что моим делом воспользовался первый секретарь нашего обкома партии, для того чтобы дать по мозгам Карпову. Карпов был у него как бельмо на глазу. Появился удобный повод, чтобы поставить на его место своего человека. Это обычные методы создания на местах партийных мафий. Вот и вся нехитрая механика тех событий.

Но главное, дорогие, я не догадывался тогда, что вся эта раскрутка дело рук Федора. Да! Это он, старый черт, быстро пронюхал через своих друзей, что я в психушке. Более того, он предполагал после моего рассказа об обыске: что-то должно произойти со мною и проклинал себя за то, что меня не уберег. Но нет худа без добра. Каша в городе заварилась внезапно такая крутая, хотя я тоже этого не знал, лежа в "бублике", что на наш завод вынуждены были явиться какие-то типы из ЦК партии, то ли завотделом с инструкторами, то ли комиссия партконтроля, но это неважно. Братья мои по классу, друзья мои по цеху потребовали наказания хулиганья, напавшего на меня на улице, и ответа на свой общий вопрос: в чем дело? Почему изо дня в день ухудшается снабжение рабочего класса продуктами первой необходимости? Хотя в газетах мы читаем, что страна наша богатеет год от года.

Да! Прямо вот так в лоб поставили вопросы наши работяги, и товарищам из ЦК пришлось попотеть, поизворачиваться, побегать к прямому проводу.

Не буду описывать мою встречу с Верой, с сыном Вовой и его женой Машей, примчавшимися из Москвы, с Федором — моим спасителем — и с друзьями по цеху и дому. Не буду. Хорошая была встреча. Многим не удавалось, конечно, сделать вид, что они не заметили, как я изменился, но это меня не расстраивало. Наоборот, было бы странно, если бы Сол

и Джо, возвращаясь, например, из публичного дома или с бейсбола, были избиты до неузнаваемости полицией, а вы притворились бы, что нет в их внешности, выражении глаз и поседевших головах никаких внушительных изменений.

Встретились. Всплакнули слегка (Вера и Маша). Выпили. Закусили. Проболтали всю ночь.

Я уже говорил вам, что по моим прикидкам новый наш первый секретарь воспользовался моим делом для замены Карпова своим человеком. Так оно все и было после того, как "голоса" передали сообщение о нашей психушке и ее пациентах-диссидентах и обо мне, избитом гебешениками и помещенном в "бублик". По городу и по заводу сразу пошел шумок, избили, мол, и посадили рабочего, который организовывал на свою голову поездки в Москву за продуктами. И что сделано это было по приказу бывшего первого секретаря, ныне большой шишки в ЦК партии. Завод, как говорится, забурлил. Несколько дней шумели работяги, не бросая, однако, работу, и, говорят, итальянская компартия стала давить на нашу, угрожая отправить вместе с какими-то агрегатами для завода вагон колбасы, сыра, масла, макарон и книжек о жизни и заработках итальянского рабочего класса. Ну, в Кремле вроде бы стали ломать головы: как быть? Решили поступить по-своему неглупо. Меня — освободить. Карпова — снять к едреной бабушке. Подкинуть в магазины города мороженой рыбы, китового мяса, колбасы низших сортов, уток, куриц и жирной свинины.

Рабочие тут же установили контроль за работой продавцов, чтобы продукты не текли налево. Но не обошлось без эксцессов. Одного завбазой, пытавшегося вывезти с территории туши двух баранов, толпа избивала до полусмерти.

Не могу не описать вам историю его разоблачения. Что он сделал, сволочь, поняв, что на проходной дежурит рабочий контроль и не пропускает на базу всяких дельцов из черных "Волг" и пронирыливых дамочек? В общем тех, кто унюхал про срочный завоз на базу всякой всячины, включая туалетную дефицитную бумагу. Что он сделал? Не знаю, хватило ли бы у ваших крупных гангстеров сообразительности в

такой драматической ситуации. Видит око, да зуб неймет!

Завбазой, поняв, что вплотную окружен, вызывает своего дружка завгорздрави на скорой помощи, вроде бы ему плохо. Сердце, давление и прочие дела. Тот прилетает, все поняв. Въезжает на территорию. Там угодливые прихлебалы и жулики погрузили втихаря в скорую помощь бараньи туши. А одну посадили рядом с шофером — нахлобучили ей шляпу по самый нос, укутали шарфом, очки напялили — вылитый сидит человек. И туши бараньи в салоне скорой помощи тоже закамуфлировали под больных, туалетной бумаги рассовали по всем углам.

Все прошло бы отлично у прохиндеев (оба были коммунистами), если бы не осечка у самой проходной. Никто бы не остановил машину с сиреной. Мало ли кто опился на базе или обожрался до обморока? На ней всякое бывало, включая массовые сексуальные дебоширства перед Первым мая. Седьмым ноября и Новым годом. Но, к несчастью завбазой, у проходной стояла случайная собака — огромная московская сторожевая. Принадлежала она одному из членов рабочего контроля. Самоуправного, разумеется, контроля, а не выделенного советской властью. И вдруг эта собачища начинает бешено лаять на выезжающую из ворот скорую помощь. Лает так, что голос срывает, глаза на лоб лезут и пена с клыков хлопьями желтыми падает на землю.

Ну, ладно, лает. Полаяла бы и перестала. Но собака вдруг бросается в открытое окно машины, вцепляется мертвой хваткой в шею бараньей туши, хозяин ее оттаскивает безуспешно. И тайное становится явным. Завгорздравом, прикинувшийся шоферюгой, получив по роже, во всем признался.

На проходную вызвали завбазой. Он явился, как обычно, полупьяный. И тут его без предварительного следствия тыкнули носом в бараньи туши и начали мудохать. Не выдержали у людей нервы и возмутились души. Собака же между тем успела отъесть от туши подтаявшие части. Остальные были поделены поровну между участниками судилища. Вот такая карусель...

На следующий же день после освобождения плюнули мы с Федором на все и смотали удочки на Оку, на родную мою ре-

ку, порыбачить и слегка забыться. Хорошо порыбачили мы тогда, очень славно и спокойно, просто душа в одно мгновение зажила от всей мерзлятины. И рыбка клевала, правда, мелочь, не то что в былые годы, извели в Оке приличную рыбку, но все-таки клевало.

— Уж не думаешь ли ты, Давид, что все нам так с рук сойдет? — спросил Федор, глядя на меня, разводящего на сырой полянке костер.

— А что же еще нам может быть? — говорю беззаботно и, полагая, что самое страшное позади.

— Что, не знаю, но не оставит так всего этого дела проклятая чека. Не оставит. Уж очень прижгли мы им очко. И благодаря тебе — идиоту старому — перечитывают они там амбарную книгу. Была бы только ихняя воля — враз сейчас нас кокнули бы. И — иди, свищи. За мною уже неделю ходят двое. Может, и сейчас пасутся где-нибудь неподалеку. Впрочем, сегодня — не рабочий день...

Возвращаюсь поздно вечером домой во хмелю небольшом и в блаженной усталости. Уже перед самой дверью непреложно чую: беда в доме. Захожу. В квартире Вера, Вова, Маша. Смотрят на меня с ужасом, словно я уходил в ту минуту у них на глазах прямиком в преисподнюю и спасать меня при этом было уже поздно и бесполезно. Ужасный был тогда у всех взгляд.

— Что?! Говорите — что?! — крикнул я. И тогда Вова сказал: — Света...

И только он это сказал, как Вера взвыла и забилась в истерике. К ней бросились Маша и Вова, но Вера с какой-то жуткой силой отпихивала их, вырывалась и кричала:

— Света-а... доченька-а! Будьте прокляты-ы!

Мне даже неудобно было спрашивать, что именно случилось со Светой, ибо я помогал успокаивать свою бедную Веру, но веяло тогда на нас на всех дыханием непоправимого. Веяло смертью. Сердце мое, привыкшее после разрыва со Светой к равнодушию, вдруг заболело так остро, так вдруг отчаянно забилось, словно оно запоздало торопилось наверстать жалость и любовь к родному существу, от которого я

его некогда отлучил волей своей дурной, старой, нетерпимой башки.

— Боже мой... это я во всем виноват, — тихо сказал я, и, к счастью, мои слова, сказанные с чудовищным сокрушением, немного успокоили Веру. Наверно, лицо мое было в тот момент таким, что она, инстинктивно испугавшись за живого, отвратилась от непоправимости. И тогда от всего вместе: от горя, бесконечной беззащитности перед судьбою и благодарности за спасительный инстинкт женщины, жены, матери — я сел на пол и разрыдался, и, рыдая, я проклинал себя за жестокое равнодушие, а мозг, проклятый мой, бесчувственный мозг, лихорадочно метался в догадках: поезд?.. утонула?.. машина?.. самолет?.. убили бандиты?.. инфаркт... грибы?... женское кровотечение?.. что?...

Но давайте вытрем сопли и слезы. Произошло вот что: Света приняла несколько упаковок снотворного и не проснулась. Легкая, как все успокаивали нас, смерть и добавляли, что нам бы всем такую. Может, оно и так, но каково было бедной моей дочери перед тем, как заснуть? Не дай нам Бог, говорю я.

И все это случилось после того, как ее не приняли в партию и отлучили от воспитательной работы с молодыми людьми, на которой она буквально горела — хотела привить людям в наше сложное и циничное, по ее словам, время хоть часть своей идейной чистоты и преданности марксизму-ленинизму, пропади он пропадом.

Когда меня взяли и когда везде пронесся слух, что все мы уезжаем, Свету вызвали в райком. О чем уж с ней там беседовал первый секретарь, я не знаю. Догадываюсь, что разговор его был гнусным.

...Ваш отец — антисоветчик... Брат — сионист... Зачем вы пудрите нам мозги и пробираетесь в партию?.. Вы ведь тоже за ними рванете?.. Не притворяйтесь идеалисткой... Не противопоставляйте Сталину Ленину...

В общем, Света оставила записку не нам, родителям, а своей вонючей коммунистической партии. Я не буду цитировать ее полностью. Там было много чепухи насчет светлого

будущего. Света клялась гнусным райкомовцам, что она не ведала о наших помыслах и возмущалась возвращением времен, когда дети вынуждены платить за черные грехи отцов. Напоследок она призналась, что сходит с ума от всего происходящего и предпочитает смерть разочарованию в идее и в нашем политбюро...

"Вам еще не раз будет стыдно, товарищ Губанов. Стыдно!"

Так кончалась предсмертная записка.

Я порылся, грешным делом, в ее записях и понял по ним, что обречена она была или на смерть, или на безумие, или на вечную тоску по "революционным святыням", по любимым двадцатым годам, заменявшим ей природу, отца и мать, любовь, веселье, культуру и радость нормальной человеческой жизни... Ужас меня пробрал и жалость к моей девочке, когда я прочитал следующие пылкие слова:

"Вчера вышло постановление ЦК о мерах по дальнейшему развитию художественной критики. Я читала "Правду" в метро, мне хотелось поделиться с людьми какой-то особенной душевной и интеллектуальной радостью. Разве еще где-нибудь в мире может выйти подобное постановление? В чем его высокий смысл? В том, что партия — мозг, координирующий даже художественные усилия общества. В том, что она поднимает критику до уровня революционного мышления, а критика в свою очередь тянет из болота мещанского повседневья литераторов. Трудно нам, коммунистам, хотя я еще без пяти минут член партии. Трудно. Прав Горький, сказавший: "Люди настолько тупы, что их нужно насильно вести к счастью". Прав был старик. Тысячу раз прав. Я смотрела на лица соседей по вагону. Как они были далеко от меня, от партии и ее забот. И это в день, который должен был быть праздничным из-за вышедшего постановления... Не могла не вспомнить об отце..."

Ну, ладно... Дальнейшее развитие художественной критики в стране... С ума можно сойти!..

Похоронили мы Свету. Похоронили.

Через неделю вызывают меня в ОВИР. Разговаривают вежливо. Ясно и твердо дают понять, чего я, кстати, ожидал,

чтобы мотал я вместе с Вовой в Израиль по вызову. А если, говорю, не поеду? Мы вам, отвечают, по дружески советуем ехать и как можно быстрее. Задержек с оформлением документов не будет. Я, говорю, подумаю, поскольку я не мальчик, а карусельщик-универсал. Я вот этими руками воевал и социализм, еби вашу мать, строил.

Вере я ничего не сказал. Зачем лишний раз волновать старуху? После смерти Светы она притихла, с трудом переносила печаль и ожидание отъезда Вовы...

Федора за это время (недели две) четыре раза дергали на допросы в ГБ. У них насчет него как яростного врага всякой лживой идеологии сомнений не было. Морочили ему голову по наследству, оставленному Карповым, — Посторонним Наблюдателем и преступным желанием умом Россию понимать.

Наконец, позвонил я в ОВИР и сказал:

— Не те уже мои годы ехать. Никуда я не поеду. Я заслужил право на покой и пенсию.

— Зря, — отвечают, — как бы вам не пришлось пожалеть.

— Валяйте, — говорю, — действуйте — люди новой формации, вооруженные моральным кодексом строителей коммунизма. Подстерегайте, глушите из-за угла палками по башке, провоцируйте на действия, характеризующие меня как антиобщественный элемент. Валяйте. Но передайте вашему начальству, что я не буду сидеть воды набрав в рот. Я буду жаловаться... Кому? Самому, — говорю, — вот кому!...

— Подумайте еще раз как следует, Ланге...

Стараюсь вечером на улицу не выходить. В магазинах бдительно озираюсь и в случае возникших скандалов сразу линия подальше от греха, чтобы не пришили мне хулиганства. Это они, сволочи, любят. Днем вожу Веру в короткометражку. Смотрели смеха ради подловатый фильм "Сионизм — враг народов". Это действительно было смешно. Всем буквально можно и нужно стремиться к независимости, выходило по фильму, только не евреям. Ну, разве не стыдно, думал я, приносить в жертву, в угоду дипломатическому или политическому быстротекущему изменчивому моменту чувство справедливости, совести и так далее... Отвлекаясь от гневного

голоса диктора, я вглядывался в виды земли Израйля и его больших городов, вглядывался, словно пытался узнать забытое, в лики цветов и детей, в лица разных людей — политиков, дельцов, солдат, старух, молодежи. И это было как-то странно: в короткометражке внезапно сблизиться с тем, и с теми, к кому ты сам привязан плотью, кровью и неуследимой в веках давностью родства.

— Эта жизнь умерла для меня: я не могу здесь жить, — сказала моя Вера, когда мы вышли из кино.

— Вот и правильно, — сказал я, — нам не о жизни, а о смерти думать пора.

Вера заплакала, на нас странно смотрели люди, и пришлось мне увести жену подальше от кино.

И вот, сидим однажды вечером за столом и чай пьем с бубликами. Бублики — с маком и подсушила их Вера в духовке. Есть, интересно, такие бублики в Лос-Анджелесе?.. Так вот: сидим и пьем чай. Я анекдоты вспоминаю еврейские, чтобы развеселить хоть слегка Веру, но уныние глубоко проникло в ее душу. С нами еще Таська сидела и сосед — бывший стукачила. Я говорю бывший, потому что он устроил скандал своему опекуну из КГБ и заявил о прекращении своей подлостей деятельности. Произошло с личностью моего соседа что-то такое, от чего он преобразился. То ли попытка самоубийства потрясла его, то ли мое безобидное, в смысле превозможения обид, обращение в тот памятный вечер, не знаю. Вот — лишнее доказательство, что ни на ком не надо ставить креста окончательно. Не надо. Последний крест на человеке и его делах пусть господь Бог ставит, а нам лучше бы попытаться отвратить чью-либо душу от безвозвратного падения в смрад предательства и в преисподнюю такого рода людоедства...

Сидим и пьем чай. В первый момент я не понял, как это всегда бывает, что именно произошло. Раздался страшный удар в окно. Зазвенели стекла, упавшие на подоконник и на пол. Нас обрызгало чаем. И тут же со двора донесся, как эхо первого звона, звон стекол, разбившихся об асфальт. Со стола разметало посуду.

Я нагнулся и поднял здоровенную булыгу с пола. Они кинули в мое окно булыжник не меньше четырех килограмм (десять фунтов по-вашему). Вот как они обратили "булыжник — оружие пролетариата" против самого рабочего класса. Вот как... Но об этом я подумал потом.

Когда нас обрызгало горячим чаем, Таська вскрикнула вполношенно по-бабьи, Вера прибито сжалась в комочек от ужаса, и взгляд ее глаз не был еще безумным, но, казалось, он страстно просил безумия, чтобы уйти туда от всего, что свалилось на Верину душу и не поддавалось сознанию.

Сосед же сразу подбежал к разбитому окну и заорал:

— Падлы-ы! Падлы-ы!

Холодный сырой ветер сразу заполнил дом и было от этого еще обидней, оставленной, незащитней и сиротливей сердцу. Страшно не было. Но температура, если так можно выразиться, страха казалась мне тогда желанней склизкого холода чужой живой, хоть и безликой вражды и злобы и моей собственной сиротливости. Не было во мне страха. И не от него я искал спасения, когда весело и отчаянно, словно на фронте, сказал Таське:

— Кончаем с чаем? Тарань из "Оки" заначку!.. Вера! Молодость моя и старость, — воскликнул я, — а ну-ка, сгоноши закусочки!.. Они хотят втоптать нас в блевотину, а мы возрадуемся! Возрадуемся, ибо мы живы и нам легче, чем им — ничтожным блядам, рыскающим в сырой темени с камнем за пазухой вместо того, чтобы сидеть в теплой комнате за столом с друзьями, с тобой, сосед, с тобою, Таська, славная ты баба, и с тобою, жена моя, и пить огненный холод водяры и захавывать его нежной плотью белого, взятого вот этими руками грибочка!.. Вера! — крикнул я, весело пьянея, — даю вам слово, как на фронте, что имеется у судьбы для нас про запас кое-что поважней и подостойнее страха и смерти. — Вера! Все будет хорошо! Все и так прекрасно! Мы — дома, а они, согнувшись, разбегаются, как обоссанные шакалы, в уличном мраке. Они боятся света и памятливых глаз случайных прохожих... Шакалы! Шакалы! — крикнул я, высунувшись из разбитого окна. — Заходите погреться на рюмашечку водки!

Я думаю, что я заразил тогда достойным состоянием души жену и соседей. И вы себе не представляете, как мы тогда после чая, когда уж спать было время укладываться, хорошо посидели. Хорошо!

Думаете, я Федора не вызвал к нам по телефону? Позвонил. Приходи, говорю, но только осторожней. На улицах нашего города, борющегося за звание "города коммунистического быта", ошиваются грязные шакалы с партийными и комсомольскими билетами в карманах. Осторожней!

Мы врезали до прихода Федора по рюмочке. Я не подавал виду, что волнуюсь за него ужасно. Черт бы побрал меня звать его в такую темень, после всего, что было, в гости. Черт бы меня побрал. Если с Федором что-нибудь стряется, решил я, отправляю Веру с Вовой, а сам пускаю пулю в лоб из старой берданки. Непременно пушу... Это будет нелепое, но положенное мне завершение жизни. Почему желание увидеть друга важнее для меня беспокойства за его безопасность? Вы думаете, я не перезвонил? Перезвонил. Но Федора уже не было дома... Час проходит — его нет. Два проходит — нет Федора. Время застольное летело быстро. Вера моя захмелела, отошла немного за все эти дни, я почувствовал — на убыли, на убыли закравшееся в ее душу уныние и, возможно, безумие — и уложил ее спать. Она заснула, не раздеваясь, как девочка, старая моя, родная девочка, и тогда это было хорошо для нее и для меня.

Через два часа после звонка к Федору меня начало трясти. То есть я наливал, балагурил с Таськой, велел соседу привести жену (но ее не было дома), закусывал, что-то вспоминал, развивал идеи, рассказывал, какое это все-таки счастье любить свой станок карусельный, свой труд и рыбалку, насовал, как и положено в беседе, тыщу хуев всякому начальству, закурил, чего давно не делал, но меня внутренне трясло, и я не знал, как мне быть через час, что предпринимать, где наводить справки...

Боже мой, говорил я, Боже мой, что я наделал... Черт меня, старого пса, дернул звонить... Боже мой, пронеси беду мимо, как проносил Ты ее бесчетное количество раз... Про-

неси, Господи... Наконец, когда позвонили в дверь и я понял по звонку — звонит Федор — так никто больше не звонил, напряг мой был таким лихорадочным, что, увидев невозмутимую, притворяющуюся, как всегда строгой, рожу Федора, я истерически и грязно выругался и чуть было не полез на него с кулаками. Ругательства переводить не буду. Но я сказал:

— Сукин кот! Сволочь! Проказа воркутинская! Где ты шляешься? Я места себе тут не нахожу!

— Не думай, что и я такой же баран, как ты. Перед тем, как выйти из дома, я позвонил дежурному по управлению ГБ и сказал: так, мол, и так. Я такой-то и такой-то, иду в гости к другу Давиду. Вы, кажется, имеете зуб на него и на меня. Так вот, говорю, если ваши молодчики уже в дозоре и собираются мудохать мирного гражданина или еще какую-нибудь пакость выкинуть для провокации, то об этом завтра же узнают все прогрессивные люди доброй воли, недремлющие газеты, радиостанции, еврокоммунисты, американские сенаторы, Маргарита Тетчер, Папа римский и другие крупные и влиятельные фигуры. Будьте здоровы, говорю.

— Вы, Федя, большой наглец! — восхищенно сказала Таська.

Посмеялись мы, конечно. А задержался Федор, потому что заскакивал на другой конец города к знакомым, за старыми пластинками и чудесной водкой, настоенной на ягодах и травах.

Словами ее не описать, но представьте, особенно это касается Сола и Джо, что вы пригубили первый глоточек, но не проглотили его, и кажется вам, что это — сон, что жарким днем вы подошли в саду к кусту черной смородины, а от него шибает жарким духом ягод и солнца, и вы растираете в пальцах смородиновый шершавый листочек и подносите теплый мякиш зелени к ноздрям. Вы закрываете глаза при этом и забываете, что вы — это вы, ибо вас растворяет в себе на мгновение, как какую-нибудь растворимую частицу, жар земной жизни и бездонная тайна запаха...

А настоек, заметьте, было четыре: смородина черная, малина, зверобой и мята с жасминными лепестками. Мы по очереди отведывали каждой — закатывая глаза, постанывая и

шевелия ноздрями. Даже грех было закусывать такие настойки. Грех!

При этом мы — три мужика и одна Таська заводили еще довоенные танго, песни бедного педераста Козина, затравленного Сталиным, "Кукарачу", "Песенку-квикстеп" и прочую музыку нашей молодости. Заводили — и тут Таська вытащила меня танцевать.

— Не балуй, Таська, ни к чему, — сказал я, когда она очень уж занежничала.

Но Таська зашептала:

— Танцуй смирно... Танцуй... Чего тебе? Я тебя поведу...

Она повела меня, зараза, сильно и властно — так, как водят баб уверенные в себе ебари-профессионалы. При этом Таська как бы случайно задевала мою щеку своей, между прочим, милой щекой. О том, что вытворяли ее ноги, я уже здесь не говорю... Мы протопали фокстрот, выковряживались в аргентинском танго, когда партнер (Таська) валит на себя партнершу (меня), мы кружились в печальном, как вся, вся, вся взятая целиком жизнь, как вообще вся жизнь, — старинном вальсе. И теперь я понимаю, что Таська лишила меня воли и превратила на какое-то время в утомленное солнце, в нежно с морем прощающуюся бабешку, — превратила тем, что страстно от тоски по мужику и зависти к нашей мужской любовной инициативе, вошла в роль мужика, и что-то в нас обоих, не карежа и не оскорбляя сути наших полов, перемещалось, словно в одном кружащемся сосуде.

Я даже хихикал, как бабешка, я это прекрасно помню, когда Таська очень уж распускала руки и тихо, сдерживая стон, намекала, что, мол, пора выйти. Что ты, что ты, жеманно говорил я, делая заведомо бесполезную попытку отдалить наши тела друг от друга, но Таська, железно удерживая меня одной рукою, заводила третий, десятый раз подряд все тот же вальс, пока Федор трепался с соседом, и снова кружила, и вот уже смотрю: она выкручивает меня... и-раз-два-три... и-раз-два-три из комнаты в коридор, и я еще не сопротивляюсь, потому что воля из меня высочилась по капле, нету ее во мне нисколечки, ни молекулки, дышу Таськиным дыханием,

дрожу ее дрожью, кружусь, кружусь в карусели сладчайшей, пьяный от всего случившегося за вечер, от сгинувшей тревоги, спокойствия за уснувшую жену, от веселия, отчаяния, чудесных настоек, патефона, кружусь и слетают с меня золотые невесомые стружечки времени, заворачиваются на глазах в вечные локонки, и — прижат я, не вырваться, как прижата бывает кусина металла к станине, к Таське...

— Нет... нет... — сказал я, удивляясь одновременно чему-то чужому в своих манерах и в голосе, когда Таська прокружила меня наконец в пустую комнату. — Нет... Тася, что ты...

Но не тут-то было. Она все больше входила в роль мужика, она просто становилась, бесовка, мною, как я ею, и покрывая мое лицо поцелуями, повторяла мои слова:

— Возрадуемся, ибо мы живы. Возрадуемся...

— А жена? — чувствуя, что слова эти не более чем пустопожнее девичье лепетанье, говорил я, и Таська, умница, покорила меня последней, убойной, чисто мужской хитростью: душевным тактом. Ни слова больше не говоря, как бы внушая мне, что все последствия и всю вину за готовое случиться она берет исключительно на себя, Таська каким-то непостижимым образом, не выпуская меня из рук, открыла дверь нашей квартиры (вполне возможно, что она открыла ее заранее) и уже в подъезде еще раз произнесла мои же слова:

— Возрадуемся, ибо мы живы...

— Ты что? А она?

— Она спит, — убедительно шепнула Таська.

Мне нравилась, меня ужасно возбуждала эта навязанная нам приятным случаем нервотрепка игры и, как всегда это бывает с охмуряемыми, но безразличными к мужику бабешками, если, разумеется, я не ошибаюсь, я почувствовал укол совести и дальнейшую невозможность сопротивления. Просто это было бы неприлично. Неприлично было человеку в моем возрасте продолжать игрушки в обмен полами, неприлично. Я дал понять Таське одним жестом, что мы и сами с усами, но она умоляюще попросила не разрушать ее наслаждения и все делать сегодня так, как ей хочется.

— Ты иди... иди... ничего не говори... иди, Давид...

Даю слово: я поднимался по лестнице на Таськин этаж с юношеской томительной слабостью в коленках, и дыхание мое было частым, но не отдышечным, стариковским, а взволнованным, как тыщу лет тому назад, и я грустно чувствовал вкус жизни и думал: "Боже мой! Как мало мы живем, как мало, потому что, если вычесть из моей, например, не такой уж невезучей жизни все имевшее отношение, собственно, к моему личному существованию, к моей душе и к моим страстям, то останется несколько золотых крупинок, несколько блестящих камешков, притягивающих обращенный к ним взор глубиной бесконечности". Наверно, это не так уж мало, могло ведь и того не быть, если жизнь не промывает ваш взор радостью удивления, а затягивает его постепенно кутячьей подсиненной пленкой безысходности и уныния.

И вот, мы заходим в Таськину вдовью, холодную (было открыто окно, из которого выкинули физкультурника-растлителя) квартиру, и она на пороге берет меня в оборот: целует в засос, так что сердце к горлу подскакивает и опускается, подскакивает и опускается, и сама, не доведя еще нас обоих до широченной постели, шалеет от желания. Не скажу, что мне было неприятно оставаться до конца в роли ловко со-вращенной, безропотной бабенки. Наоборот.

Постель, несмотря на огромность, просто поле любовного боя, а не постель, была достойно твердой, а мы оба ужасно жаркими, но никуда не спешащими, со слетевшим с нас вместе с одежкой вечерним хмелем. Ах, каким мужиком, скажу я вам, была бы Таська, если бы она была мужиком. Боже мой, это был бы нежный, сильный, твердый, смешной, пылкий, не эгоистичный, приятный, родственный и обольстительный мужик. И поверьте мне, если бы я в свою очередь был бабенкой, то я был бы бабенкой что надо. Цимесом я был бы.

Если прочитав это письмо, вы позвоните мне, как в прошлый раз, не помню, по какому поводу, и скажете, зачем я пишу всякие незначительные вещи, то я вам отвечу так: эти, на ваш взгляд, незначительные вещи имеют огромное и существенное значение для памяти о моем прошлом, о моей жизни. И никто, кроме меня, не может попытаться их описать. Если

бы я еще читал в советских отштампованных книжечках о чем-либо подобном (случайные половые связи замечательного представителя рабочего класса), то, возможно, мне не представилось бы необходимым взяться за неопытное перо. Но ведь нет ничего такого про личную, разную, всякую, чистую, греховную, запутанную, ясную житуху так называемых простых людей. Нет.

Виноват. Занесло.

Но не думайте, что все тогда в Таськиной постели кончилось благополучно. Наоборот. Переоценил я состояние своего здоровья. Вернее, желание ввело меня в заблуждение, а мужская прыть укрепила в нем, и я развернулся, как бычок, во всю гармошку. Вдруг, после одного, не будет лишним заметить, из многочисленных приятных моментов, мое про-барабанившее весь вечер сердце, очевидно, подумало, что все происходящее в Таськиной постели больше не имеет к нему никакого отношения и стало останавливаться.

Я на это пробовал не обращать внимания, поскольку в те минуты дело было вовсе не в сердце. Я, откровенно говоря, не нуждался в этом важном органе моего тела, но оно как-то досадно трепыхалось, нарушая, как говорят политруки, ритм работы целого коллектива, так что я даже прикрикнул на него по-политруковски: "Давай! Чего ты там? Давай!.." И оно дало мне. Можете быть уверены. Дало. Я полностью, даю вам слово, был некоторое время после остановки моего сердца на том свете.

Открыв глаза, хватанув ртом воздух и чувствуя смертельный холод и синеву собственных губ, я увидел над собою голую Таську, не совсем еще поверившую в мое счастливое возвращение с того света. И лоб мой тоже холодила испарина... побывал мой лоб в запредельном холодище. Отпотевал лоб, как, впрочем, отпотевали блаженно и грудь, и плечи, и руки, и живот, и ноги, а виновника всего этого происшествия я даже не ощущал, как будто и не имелось его вовсе, он как бы покинул меня из-за страха разоблачения и наказания.

Таськин лик, подобный лику возвращающейся жизни — заплаканный, ужаснувшийся, жалкий, радостный, смятенный

— проступал все явственнее, торжествующе, основательней и правдоподобней перед глазами.

— Быстро, домой меня, — прошептал я. — Этого еще не хватало: помереть на бабе.

— Господи!.. Господи!.. — Таська приложила к моей груди ухо. — Минуту тому назад не билось... Не дышал ты, Давид... Клянусь, не дышал! — говорила она и щупала мой пульс, одевала и была так потрясенно счастлива от моего избавления, что сердце, словно прощая все и ей и мне за грех соблазна, настраивалось, хоть и слабо еще, на жизнь...

— Может, не двигаться тебе, Давид? — сказала Таська. — Полежи. Отдышись.

— Поговорим мы так с тобой, люди грешные, — усмехнулся я.

— Ничего. Мало ли что по пьянке бывает? Ну, застучает тебя жена. Не простит что ли? Я бы простила. Ты — муж хороший, а она свое отслужила. Как же быть мужику? Правда?

Я был не в силах еще реагировать на все сказанное. Лишь приятно мне по-человечески было, что Таська не спешила избавиться на всякий случай от помиравшего человека.

Лестница нашего подъезда показалась госпитальной. Всплыло в памяти невольно, как первый раз после ужасного ранения и частичной контузии спускался я, держась за перила, чтобы не свалиться в обморок, а может быть, куда-нибудь поглубже. Я шел по самой его кромочке, чувствовал, что меня неудержимо заносит в темную бездну, в руке не было сил держаться за перила, я покачивался, стараясь сохранить равновесие. И в тот момент, когда уже принялась выстилать изнутри мое тело глубокая тишина примирения с судьбой не жить, наверное, сама жизнь — она бесконечно сильней и мудрей нас — выпрямляла меня.

Вера спала. Федор с соседом пили и беседовали. Все обошлось без намеков и шуточек в наш адрес. Но только я сел за стол и открыл рот, чтобы сказать, не помню уж что, как снова провалился во тьму. Это был второй за тот вечер приступ. Очнулся я от кашля, сотрясшего тело. Закашлялся же я от коньяка, попавшего не в то горло. Я полулежал на диване,

и в комнате было свежо от чистого воздуха осенней ночи. Откашлявшись, я допил коньяк. Поднесла мне его Таська. Самочувствие мое мгновенно, просто мгновенно стало изумительным. Я почувствовал какую-то неправдоподобную легкость в теле, какое-то примирение в нем всех моих печенок, желудков, щитовидок, пузырей, мозгов, глаз, ушей и, главное, сердца с членом и его яйцами. Я взлетел с дивана, словно надутый волшебной газовой смесью, взлетел, не выпуская из руки пустой рюмки и смотря на янтарную капельку коньяка на стенке, как на чудо, заключавшее в себе спасительное благоволение ко мне Бога.

Шестеро глаз, трое людей следили за моими осторожными движениями по комнате со страхом и надеждой. Но я должен был побыть наедине с самим собою и с тем, чем я был наполнен, с тем, что пыталось стать во мне выраженным мыслью или желанием, однако еще не могло, не созрело, но пыталось, пыталось, пыталось...

Я пытался воспринять веление судьбы с тем, чтобы следовать ему, но не понимал тогда, что именно в те минуты была мне дарована полнота свободы, не нуждающаяся в дополнительном выражении словом. Я стоял у окна, которое только что, час или два назад, было выбито зловещим камнем, и острые края стекол надсадно драли зияющую тьму, как драли только что они мою душу, но теперь стекло было вставлено, пахло свежей замазкой, кусочки старой валялись на подоконнике среди маленьких гвоздиков с откусанными шляпками, стружками и стеклянными осколками. Вставлено было стекло. Я спокойно, вернее, свободно смотрел в темень. Для смотрящих с улицы бандюг я, конечно, прекрасно был бы виден, но не было во мне ни страха, ни гадливости. Злодеи перестали для меня существовать. Перестали и все. И благодаря освобождению от какой-то дьявольской зависимости от них, я мгновенно обмозговал всю ситуацию своей жизни, а если говорить точнее, то ничего я не обмозговывал тогда: просто я уже следовал.

И теперь я понимаю, что я считал свою жизнь счастливой лишь тогда, когда следовал. Следовал, доверяя. На фронте

для решения следовать отпускается иногда ничтожная частичка секунды, даже если ты следуешь прямо в пасть смерти. С Божьей помощью я выжил.

Я отказывался от выигрышного, но небезупречного поведения, и вот — совесть моя чиста. Я преступил через гадливость и ненависть в душе к предателю своему и стукачу, и вот — душа моя стала добрей и умудренней. Я много раз нелепо рисковал, но это не без пользы для моего уважения к жизни.

Грешил ли я? Очень много. И по своей и не по своей вине, но чужую вину при следовании моем черт знает куда — считал и считаю своей собственной виной. Грешил. Но я рад возможности распознавания греха. Покаяться рад и сокрушиться. Ведь жить — это не на эскалаторе ехать вверх или вниз в московском метро.

Я знаю, что вы или напишете или спросите меня при встрече, как это я пожилой человек мог позволить себе распуститься в каком-то мелком вальсе? Как я позволил вообразить себя блудливой к тому же бабенкой и дойти до того, чтобы не быть уверенным, какой именно орган у меня между ног? Как я решился блядовать, пока жена больная спит, и чуть-чуть не отдал концы в постели легкомысленной вдовы? А потом, вместо того чтобы отлежаться, едва не умер во второй раз, но воспрянул, можно сказать, с одра и на радостях стал воспевать судьбу? Как я могу так себя вести?

Виноват. Но вы знаете, дорогие, я чувствую, что ничего не сумею вам ответить. Не сумею. Захочу, но не сумею. Невозможно ответить. Я знаю, что я не хотел бы быть другим человеком, но это не будет ответом на ваш вопрос.

И вот, стою я у окна и смотрю на город, где прошла моя жизнь. Смотрю и уже прощаюсь с ним, следуя велению судьбы и не противясь ему. Еще никто ничего не знает, и сам я не знаю, как оно все произойдет, но это неплохо. Это — к лучшему, когда не надо вдаваться в детали. Я понимаю, что судьба дарует нам за повиновенье легкую, на некоторое время, беззаботность. Приятно, скажу я вам, не предвосхищать неведомого, а прощаться, стоя двумя ногами на берегу разлуки, хотя никому не дано знать: что там в неведомом ожидает нас — прочные беды или радостные случайности...

Это тогда у окна происходил в никем ненарушаемой тишине моей души плач по всему, что предстоит вскоре покинуть. Я понял, вернее, почувствовал, как уже начали отрываться от души первые нити, связывающие ее с каруселью моей судьбы в этом государстве, а точка боли, куда сходились вся боль от мысленно разрываемого, от воспоминаний, точка боли печальной и тяжелой, но благословенной и необходимой человеку в такие минуты, была в сердце. И ничего — оно как бы давало мне понять, что боль такого рода не худшая и не неприятнейшая из нагрузок и что сердечное недоумение перед тупым насилием и бессмысленной ненавистью власти куда тяжелей, разрушительней, а главное, напрасней...

И подобно тому как в первые месяцы войны я, выйдя с Федором и другими солдатами из безнадёги окружения, дал нашей единственной коняге, можно сказать, нашей спасительнице, кобыле Зойке, выпить портвейна с водой, чтобы она взбодрилась хоть на миг, а не подохла от смертельной усталости и лошадиного уныния, которому тоже есть предел, я дал, как той лошади, своему сердцу еще коньяку.

Поистине, дорогие, мы молодеем, как только следуем судьбе. Молодеем, другого слова я не подберу, ибо согласный отклик наш на зов судьбы — молодость. И выпив еще, я почувствовал сильнейшую необходимость поговорить, голод я почувствовал по беседе с Федором и с самим собою.

И в разговорах как-то забыли все мы, особенно я, о том, что я уже следую, что началась по сути дела — с прощания раннего в душе и плача по прошлому — моя новая жизнь. Началась в свой срок, не считаясь с тем, что выпало мне на старости лет нежное приключение и что придется его умертвить и безжалостно разорвать в тот момент, когда я ошалел от страсти к женщине, от всего этого печального вальса, от всей этой карусели...

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ В СВЕТ НОВЫЙ

роман ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО

КАРУСЕЛЬ

Роман написан в форма писем простого еврейского рабочего Давида Ланге, который обращается к своим родственникам в Америке.

Давид Ланге — знаменитый в своем городе карусельщик — более не способен жить среди окружающей его лжи, он переживает глубокую жизненную драму и в конце концов покидает СССР.

Письма Давида Ланге написаны в удивительном жанре, и жанр этот вполне соответствует окружающей его фантастически-уродливой жизни — он балагурит, ерничает, издевается (а как же еще писать о его городе и заводе, где нет и намека на простые человеческие отношения). Но сквозь этот грубоватый, насмешливо-эпистолярный стиль легко почувствовать глубокую душевную боль. Перед нами подлинно человеческая трагедия, через которую проходит герой Алешковского. Вначале обыск, затем психушка, куда заточают вчера еще знаменитого карусельщика и, наконец, отъезд из России.

Психушка — это как бы апогей всего происходящего, это даже не реальность, а некая фантазмагория, с соседом-людоедом, с сумасшествием местного начальника КГБ, с дикими людьми и не менее дикими ситуациями.

Цена книги при предварительном заказе — 12 долларов.

Цена в магазине — 14 долларов.

Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

394 High Middletown CT 06457

"И вот, захватили варвары изуверенный город, и Паулинус, его епископ, утративший весь свой блеск после того, как потерял все, что ему здесь принадлежало и подчинялось, и, будучи пленен, помолился Богу и так сказал: "О Господи, смилуйся, избавь меня от чувства утраты, ибо Тебе доподлинно известно — еще не коснулись эти люди того, что действительно мое".

Монтень. "Об одиночестве"

Шуламит ГАР-ЭВЕН

ОДИНОЧЕСТВО

В последние годы снизошла на Долли Якобус — госпожу Долли Якобус — спокойная и уверенная любовь к себе.

В это утро она сидела за своим письменным столом, раздумывая, как закончить письмо. Письмо предназначалось мужу. С той минуты, как проснулась, Долли жила с приятным чувством, что муж на съезде архитекторов на Мальте, и она может послать ему письмо туда, на Мальту, надписав на конверте название столицы этой страны: Ла-Валлетта — это такое легкое слово, напоминающее молодого всадника в мантии, устремленного к материку и движением, исполненным изящества, снимающего на ходу рыцарские перчатки — Ла-Валлетта!.. Но стоило сесть за письмо, омрачила Долли мысль, что в самом-то деле как все нелегко: ведь что она в сущности знает о всех этих местах, о их пустоте, часть которой занимает Меир Якобус, и какой он там — все тот же или чужой? Никогда не могла она представить, как выглядит ее супруг, когда его нет рядом. Быть может, существует как-то иначе, лицо у него другое...

Долли Якобус взяла ручку и продолжала писать:

"Сейчас десять утра. Сквозь листву большой оливы на стол падает много свету. Помнишь, я сомневалась, верно ли ты предусмотрел это окно, не слишком ли высоко, а теперь довольна: свету как раз, и в самое подходящее время. Приятный у нас дом, Меир. В город выбираюсь довольно редко, потому что все еще очень дождливо, а как только дождь перестает, весь город спешит устраивать свои дела. Возвращаюсь домой, и кажется, будто кто-то здесь побывал и исчез — раньше, чем я успела подняться на крыльцо. Гляжу в зеркало, ищу, кто это мог быть. Наверное, это признак, что ты думаешь обо мне и о нашем доме. Если собираешься привезти мне с Мальты кружевную шаль, то очень прошу — белую или желтую, или кремовую, но только ни в коем случае не черную. И поскольку не знаю, как там идут твои дела, хочу напомнить только то, чему ты сам меня учил: " *Surtout, pas trop de zele*".* До свиданья, дружок".

Быстро перечитала письмо — ведь ему предстоит придирчивая проверка ее супруга. Нет, в нем нету никаких назойливых вопросов, вроде "как развлекаешься, когда вернешься?" И на шею она не вешается, дескать, "тоскливо, тяжело мне без тебя". Меир Якобус уже давно ей внушил, что практичностью отличается чернь. Уже за первые года два их брака приучилась она не спрашивать "что будет?" "Будет", — спокойно отвечивал Меир. Порой он снисходил к ее страхам и добавлял: "При твоём-то положении, Долли, тебе уже ни к чему быть практичной".

Долли Якобус взяла продолговатый конверт, вложила в него письмо и слегка наискосок надписала адрес гостиницы в Ла-Валлетте. Почерк у нее весьма своеобразный: буквы высокие, удлинённые, заострённые по краям, каждая из них особенная — будто сидела Долли Якобус, трудилась и придумала свое собственное написание. А вот подпись у нее мелкая и какая-то съехившаяся — словно ищет укрытия в наизуком-

* "Главное — не слишком круто поворачивать" (Талейран).

нейшем уголке и без того надежно защищенного убежища. Один графолог как-то сказал ей, что она своей подписью изображает плод в материнском чреве, и это ее очень напугало. Четыре выкидыша подряд, причина которых навсегда осталась неизвестной, сделали ее бездетной и неизменно обиженной, подобно тому нетерпеливому человеку, что жаждет совершенства и не понимает, почему его нет — ведь давно бы ему явиться. Эта обида стала притупляться лишь в последние годы. Теперь Долли заботилась о доме и о муже, ухаживала за цветами — цветов у нее множество, — и делала все это с жизнерадостностью. Себя в зеркале оглядывала удовлетворенно и слегка придирчиво. Слушала лекции в институте Ван-Лир и в университете, ни одну не пропустила, лекторы были — заслушаешься. Знакомства — в рамках короткого академического часа: кивок кому-нибудь в соседнем ряду да обмен остротами в перерыве. Медленно, постепенно завладевала ею любовь к себе и спокойно росла среди любви еще большей, поглощающей — к красивому жилищу, книгам, картинам, к добротной обуви, не по грубым израильским колодкам сшитой, к ресторанам, кредитным карточкам — ну, конечно, госпожа Якобус, разумеется, господина Якобус — и к виду Старого Города, на который окна ее дома взирают сверху вниз. Этот вид казался ей отдельным экспонатом из ее собственного собрания, изменяющимся от часу к часу, по мере того, как меняется освещение. Однажды по какому-то поводу зашла к ней знакомая по университету, села перед широким, "царя Ирода", как его прозвала Долли окном, долго молчала, погрузившись в море света, пока наконец не промолвила:

— И ты способна обозревать этот вид постоянно, изо дня в день?

Долли Якобус пожала плечом.

— Так вот и смотришь все время сверху? — продолжала пораженная гостья. — Просто смотришь себе сверху — и все?

— Как видно, я — мотылек, — ответила Долли Якобус и сморщила лицо в ту кривоватую улыбку, которую любила больше многих других своих улыбок. А потом добавила:

— Только следует знать, что мне приходится тяжело трудиться, чтобы быть мотыльком.

Была она слишком богатой, чтобы вызвать истинное сострадание у других, но все же люди частенько молвили: "Бедняжка эта Долли". А почему — никто в сущности не знал. Год назад увлеклась разрисовкой тканей и много раздавала в подарок, но пачкотня, неизбежная при работе красками, в конце концов ей надоела. В продолжение она еще попытала себя в искусстве Хайку. По правде сказать, она послала бы мужу вместо письма несколько оттисков Хайку, будь уверена, что они хорошо перенесут полет, расстояние, море, которое отделяло ее сейчас от мужа и казалось чрезмерно большим. "Ведь что нужно-то человеку, кроме трех-четырех улиц окрест него?" — размышляла она иногда. Лишь у того, кто никогда не был беженцем, вызывает особую приязнь море, и пространство, и космос. А Долли Якобус была беженкой, пускай двадцать пять лет назад. Поражает ее по сей день, что в доме включают отопление — и оно работает, работает и греет, а дождь — он где-то вовне. В самом деле, во-вне. Совсем без обману.

Оказалось, у нее кончились марки, и поскольку она хотела еще зайти в магазин деликатесов в центре города, то решила поехать. Села в свой маленький автомобиль, просунула руку в ящичек и достала пару вышитых комнатных туфель. Она любила обуваться в них, когда располагалась за рулем, в мягкие эти туфли: они превращали машину в подобие собственной ее комнаты. Зеркало обозначило чуть заостренное, миловидное лицо, слабый признак усиков над верхней губой — нет, не то чтобы усики, но только кожа на этом месте чуть темнее. Каждый раз, как садилась перед фотографом, она вынуждена была припудрить верхнюю губу. Долли выправила зеркало под нужным углом, включила зажигание. Несмотря на стоящий поныне холод, мотор завелся сразу, и это ее порадовало.

Улицы города, очень запутанные, бежали навстречу. Прохожие не решались, то ли раскрыть зонты, то ли сложить. Бурный ветер подхватывал раскрытые зонты, выгибал в подобие воронки, а в тех пешеходов, что шли с нераскрытыми зонтами, выстреливал, промачивая, залпами дождя. Люди теряли

терпение от неровной ходьбы — то широко ступали, перешагивая через лужи, то частили, согнувшись, дабы сократиться под ветром. Волосы у женщин были спутанные; попались на глаза несколько девушек, что бегали, хихикая, пытаясь изловить улетающие косынки. На стенах домов виднелись еще не просохшие потеки дождя, а по небу, меж крыш и домов, бежали клочья туч, и солнце силилось выглянуть из-за них через неравные промежутки. Мальчишки пускали бумажные кораблики в грязной луже, покуда серый грузовик, водитель которого был озабочен чем-то своим, не пробороздил лужу, расплескивая во все стороны мутную воду с обрывками бумаги и детские крики. Камень города был темный и усталый. Казалось, вся улица источает тяжелый дух мокрой собачьей шкуры, и на мгновение захотелось вернуться, спрятаться в чистом и теплом доме, где греет отопление, но раз уж выбралась — не поворачивать же назад...

Въехала на стоянку, неподалеку от Нахалат-Шва'а. Контора Меира Якобуса была совсем рядом, на верхнем этаже одного из небоскребов, что прорезают город, будто он для них невыносим, и стремятся выделиться, отделиться от него в высоту. Ни один человек не стал бы строить такое лично для себя: лишь сообщества людей — чтобы стать богаче всех остальных горожан. Та самая строительная компания, которая возвела это здание, целиком обеспечила его сторожами, уборщицами и даже содержала прилегающую автостоянку, но как-то раз госпожа Долли Якобус прослышала, будто не все в порядке с этим обслуживанием, что не выплачивают этим подсобным работникам всего причитающегося. Поведали ей об этом полусшепотом, когда мыли ее машину. Она захотела, было, вмешаться в эти дела, подумала: "Вот бы им рабочий комитет, который явится и потребует". Боже упаси, она сама в этих делах не знаток, но ведь есть же у людей рабочие комитеты, временами бастуют — пишут же в газетах. И поскольку очевидно было, что люди страдают, это лишало ее покоя. Однажды она заговорила об этом в конторе Меира. Это было вечером, она пришла, чтобы утащить его домой. Кроме Меира в конторе была в этот час его сестра Бильха, работающая у

него, так же, как и он — архитектор, трижды разведенная, до крайности худая и любящая увешивать себя драгоценностями. Долли Якобус нетвердым голосом извинилась, заговорила о сверхурочной работе, про рабочий комитет... Бильха подняла голову от чертежа — драгоценности ее не дрогнули, словно хранили безучастие, — и произнесла:

— Довольно трудно мне понять, Долли, зачем тебе быть упорной, как паровоз?

Долли совсем не хотела быть хоть в чем-то, как паровоз. И оставила эти разговоры. Но все же, по доброте своей душевной, сохраняла к этим людям нечто понятное всем, и хотя не понятно им было, откуда у нее это, они, бывало, улыбались ей и справлялись о здоровье. Иной раз и она спрашивала того или другого, и ей отвечали. Ей даже было известно, что человек, прислуживающий в этот день на автомобильной стоянке, недавно развелся с женой — после многих мучений и бесконечной судебной тяжбы. Сейчас, поставив машину по его знакам, больше похожим на изъявление особой просьбы, чем на повеления, она внимательно посмотрела на него через окно машины, затем достала из сумки блокнотик и записала:

"Разведенный: сорочка выглажена тщательнее обычного (прачечная), а вид более понурый, чем всегда (общественные столовые)".

Это наблюдение и запись в блокнотике оставили после себя доброе расположение духа. Уверена была: наблюдать-то она умеет. "Глаз у тебя, Долинька, острый", — сказала в душе. Закрыла сумку, а работник тем временем подошел к дверце машины: с добрым утром, сударыня, как самочувствие, не помыть ли машину. Улыбнулась ему широко — улыбкой, что всегда у нее наготове для преданных людей: очень любезно с вашей стороны, но только нет, спасибо, сегодня не нужно, сегодня она ненадолго, но в следующий раз — обязательно, пускай он только напомним, ведь вы же знаете, какая я забывчивая, просто не представляю, что бы делала без вас. И в то же время чувствовала, что слишком многословна да и улыбается не в меру. Меир все это выразил бы двумя словами, сопроводив коротким жестом. Вот и работник смущен

и не знает, как бы ему поудобнее распрощаться, или, может, ей хочется поговорить еще, но в эту минуту на стоянку въехала новая машина и выручила его.

Долли заперла дверцу машины и отметила про себя, что стоило бы в ближайший праздник отблагодарить этого человека за учтивость. На будущей неделе — Пурим, так может быть, какой-нибудь заграничный дезодорант. В самом деле, как жители этой потной страны не понимают, до чего важно пользоваться дезодорантом. Это будет подарок приятный и к тому же полезный. А поскольку Долли Якобус была женщиной неглупой, то у нее тут же сам собой возник вопрос: ну, а дальше что — когда закончится бутылка дорогого дезодоранта? Ведь не сможет же этот человек, прислуживающий на автостоянке да еще выплачивающий большие алименты жене, позволить себе привыкнуть к таким вещам, а они, Долли Якобус и ее муж, — взять на себя заботу о пополнении запаса дезодоранта у этого работника, обслуживающего автостоянку, на протяжении всей его жизни, к каждому празднику, а может, даже еженедельно. Ведь это абсурд. Тем временем выглянуло солнце, и на душе у Долли рассеялись тучи: пускай то будет одноразовый жест. Что плохого, если человек порадуется один раз? Раз на раз не приходится. Цветы тоже вянут.

Оттого, что и в этом случае удалось ей не проявить излишнюю практичность — предмет ее постоянной заботы, — повеселела Долли Якобус. Была она по природе своей приверженницей порядка и не любила оставлять ни дела незавершенным, ни мысли недодуманными. Разгладила платье и направилась к зданию. Стремительный, бесшумный лифт доставил ее на верхний этаж, где размещалась контора мужа.

Дверь была открыта. Бильха сидела в одиночестве, с циркулем в руке склонившись над чертежом. Вот так она и сидит тут всегда склонившись. Низкая лампа, направленный резкий свет, а на столе, будто на дне, куда достигает этот свет, как некое глубинное кипение, сверкают Бильхины перстни.

— А, это ты... — вяло промолвила Бильха Якобус. Перстни померкли на мгновение и — вновь вспенились светом.

— Ты одна? А где Эстер?

Долли подразумевала секретаршу — молоденькую дылдопку, дурнушку, лишённую всякого обаяния, всегда с жевательной резинкой во рту, волосы на своем парике укладывающую на неподходящий для нее манер и которая отродясь не училась вежливо говорить по телефону. В сущности Меир и Бильха не нуждались в секретарше, а сама Эстер — в заработке, который ей давала эта должность, но только ее родители, люди очень уважаемые, из старожилов Иерусалима, просили за нее, причем эта семья не только дружила с Якобусами, но по меньшей мере троекратно была связана с ними родственными узами. Бильха была исполнена сарказмом:

— Эстер так тяжело трудилась весь год, что запросила отпуск. А когда узнала, что Меир уезжает, то решила, что теперь-то у нее полное право.

— Может, у нее, на самом деле, право?..

Бильха взглянула насмешливо, и этот взгляд заключал все и напоминал обо всем — о тусклости, о тупости этой Эстер, о жевательной резинке, которую та непрестанно жуёт, про все скудное и мнимо несчастное, что передается от этой особы в пространство. Долли Якобус почувствовала, как будто становится меньше от всех этих находок. Несчастья Эстер казались ей теперь какими-то ханжеством, а опека Меира и Бильхи над нею — кроткой смиренностью, которую Долли затруднялась понять.

Чем ты сейчас занимаешься, Бильха?

Бильха вновь замкнулась. Ненавидела она говорить о незавершенной своей работе.

— Тем же, что начали до всей этой поездки.

— Чем же это?

— Оформлением входов для третьего района. Разве Меир тебе не рассказывал? — Бильхе было хорошо известно, что Меир не рассказывает.

— Можно посмотреть?

Но Бильха заслонила чертеж. — Не на что пока смотреть. Да ты и не поймешь.

Вновь и вновь чувствовала Долли, что нечего ей делать в этой конторе — повседневном мире мужа. Всякий раз, когда

она звонила, и эта Эстер отвечала деревянным голосом, ее охватывала удрученность, и Долли забывала, зачем позвонила. Иногда было срочное дело, но снова набрать номер она не отваживалась и стояла опустошенная возле телефона — будто на морской набережной, облокотившись на перила, когда что-то падает из рук в воду, тонет и — с концом.

— Бильха, мне сейчас на почту. Есть что-нибудь срочное для Меира?

— Посмотри у него на столе.

Бильха сделалась равнодушной, как прежде, и вернулась к своим измерениям. Два тяжелых браслета прозвенели на ее запястье.

Долли подошла к окну, которое на самом деле было не настоящим окном, а лишь намертво вставленным стеклом, и вовсе не открывалось. Ей было не по себе от дневного света, смешанного с электрическим, нагим, без абажура. Это возвращало из привычной жизни к видениям военного времени, создавало ощущение тюрьмы, некоего гибрида, почти греха, творимого людьми над естественно происходящими вещами. Этот чрезмерно, головокружительно высокий этаж, закупоренная комната, обреченный на вечное кондиционирование воздух, невыдвигающиеся, навсегда вросшие в столы ящики, резкий, неестественный свет, падающий на стол в одиннадцать утра, когда снаружи бесчинствует бурный ветер слишком ранней весны — все это нарушало покой, почти угнетало. Хотелось уйти отсюда на воздух, под этот ветер, который будет швырять в нее обрывками бумаги и листьями. Порою — в этом невозможно было ошибиться — среди бешено мчащихся воздушных вихрей случалось дуновение южного ветра, что можно почувствовать только в Иерусалиме и лишь в начале весны и осенью, — и когда жадно раскрывались ноздри и возникла острая тоска по пустыне: ехать и ехать, скакать, отдаваться — ей. В комнате это не ощущалось. Белый световой конус. Бильха Якобус, заключенная в нем. Она говорит:

— Там что-то от бабы Хаи. Меир не успел посмотреть. Она приказывает нам заложить окна у нее в столовой — те, что выходят на новые жилые кварталы. Говорит, что не может на

них смотреть, что каждый раз, когда видит, как изуродовали ее гору, у нее поднимается давление.

О бабе Хае можно говорить без конца — любовно и беспомощно. Баба Хая — это памятник. А памятникам дозволено все. Восьмидесятидевятилетняя, она утверждает, что ей всего лишь восемьдесят семь, и, дабы задобрить невесток, поныне сама готовит к праздникам вкусное. Однажды нанесла в дом Меира и Долли царский визит, долго сидела перед широким окном, глядящим на Старый Город сверху вниз, и произнесла:

— М-да... Так оно и должно...

Все это в сущности ее. Ей можно так смотреть. Она никогда не была молодой, голодной беженкой, со смешной фамилией, которую в новой стране следует сменить. А потом баба Хая перевела на Долли испытующий взгляд и спросила, не заводятся ли на кухне у той плесень. Сдерживая улыбку, Долли ответила, дескать, нет, баба Хая, нету. И баба Хая сказала значительно:

— Вот за это прими мое благоволение.

Была она бабушкой Меира и Бильхи со стороны матери, проживала в многосводчатом старом доме с уборной во дворе, в которую ходила летом и зимой, и не соглашалась, чтобы ей устроили современное место внутри дома, о чем внуки — Меир и Бильха — упрашивали ее годами. В комнатах у нее чистота — до рези в глазах, чище чистого, — белые гардины и белоснежная скатерть, а на ней — тяжелые серебряные подсвечники, отполированные до того, что кажется, от бесчисленных чисток светятся сами собой, даже ночью. Меир как-то рассказывал, что в детстве боялся спать в комнате, где подсвечники, — из-за их свечения. Просыпался и думал, что видит фонарь грабителей. В спальне у бабы Хаи целую стену покрывает большая карта мира. На карте приколоты маленькие флажки. Много у бабы Хаи внуков и правнуков — уже шестое поколение этого семейства обитает в Иерусалиме, — и она в любую минуту должна знать, где сейчас каждый из них. Оранжевый флажок, на котором написано "Нурит", воткнут в Лондон. Голубой — Элиша и Тали — в Ца'ала. Красный фла-

жок Йоава — где-то в Синае, хотя Йоав служит вовсе не в Синае, но баба Хая уверена, что если армия, то непременно Синай. Она там однажды побывала вместе с ныне покойным мужем, врачом, и какими-то английскими посланцами и ехала, как всегда ездят женщины, сидя в седле боком. У нее сохранилось первобытное воспоминание о скалах, воронах и опасностях. Скорее рисунок, а не воспоминание. А еще, быть может, какая-то скрытая тоска, из-за которой она теперь говорит о Йоаве, что он в Синае, а его там вовсе нет, и хотя не помнит она в достаточной мере, как он выглядит, все же весьма и весьма почитает его.

Баба Хая недовольна, что так мало флажков в Иерусалиме, а вот на Соединенных Штатах — три. Среди этих американских есть флажок Ади, которая обвенчалась в католической церкви. Баба Хая хотела даже совсем выдернуть из карты этот флажок, но, подумав, оставила воткнутым косо, как бы невзначай. Хорошо запомнилась Долли та минута, почти двадцать лет назад, когда поднялась баба Хая с места, на котором сидела, и приколола в сердце Иерусалима лимонно-желтый флажок с надписью: "Меир и Долли". Они были уже две недели женаты, но всем присутствующим почудилось, что настоящая свадьба — она только сейчас. Скитания Долли завершились. Гора за окнами стояла обнаженная и величественная, предназначенная принять на себя бедствие, которого ни один человек, кроме Долли, не боялся. Теперь, когда на карте бабы Хаи был приколот ее флажок, Долли почувствовала, что ей тоже можно уже ничего не бояться.

Она стояла в конторе мужа, прижавшись лбом к запечатанному навечно оконному стеклу, которое тревожил ветер; в этой же комнате, в конусе резкого света, сидела Бильха, проклинала не дающийся ей расчет, и все ее драгоценности вскипали тускло; над горою сидела у себя в доме баба Хая, сердилась на новые жилые кварталы, что вторглись и посрамили ее старость, а она против них бессильна.

В почтовом отделении была большая очередь. Вентилятор не работал. Впереди всех стоял паренек-рассыльный из какого-то учреждения с несколькими десятками заказных писем.

Уже совсем иссякло терпение ждать, когда он закончит, а тут появились двое солдат и потребовали, чтобы их пропустили без очереди. Давили. Будто полгорода решило пойти на почту именно в это время, и у всех было много чего посылать. Почтовый служащий был нерасторопен да к тому же растерян, и некоторые в очереди начали громко роптать. Долли Яакобус хотела было уйти, но она стояла уже ближе к окошку, чем к выходу, и пробраться сквозь плотную толпу — это было, по всей видимости, труднее, нежели терпеливо выстоять до конца. Лоб у нее вспотел.

Перед госпожой Долли Яакобус стояла молоденькая девушка, очень маленькая, худая темной, чуточку обезьяньей худобою недоразвитых детей. Лишь грудь и задок торчали этакими приставными, не принадлежащими телу выпуклостями. Была она сморщенная, резкая, какая-то обиженная, будто по несчастной причине еще в утробе матери остановилась в росте, больше признак человека, а не человек во плоти и крови, — свеча истлевшая. Исходил от нее острый запах духов "Фиалка", самых что ни на есть дешевых, а в придачу — пота. "Небось, духами пользуется вместо умывания да и спит не раздеваясь", — неприязненно подумала Долли Яакобус. Из-за тесноты люди были прижаты друг к другу, и завитые волосы девушки приходились как раз к носу госпожи Долли Яакобус. На девушке были джинсовые брючки, малюсенькие, крохотные-прекрохотные, словно кукольные, с какой-то выделкой, и фиолетовая кофточка с блестками — явно с рыночного прилавка. Между брючками и кофточкой оставалась полоска голого тела, худого до жалости, с темным волосьяным ворсом, как у зверька. Выглядела она сосредоточенной, прокуренной и — дурной. Шея у нее была нечистая.

Долли заметила, что девушка держит два заказных письма от адвоката Ицхаки, с улицы Бен-Иегуда. Адвоката Ицхаки госпожа Яакобус и ее муж знали хорошо, они были нередкими гостями в его большом доме в Немецкой Слободе. Выходило, что девушка как бы не совсем посторонняя. И проявляя усердие, с которым госпожа Яакобус всегда старалась быть приятной со всеми, чье положение ниже, а еще, мо-

жет быть, из-за одиночества, ставшей настолько обыденной, что уже почти не ощущалась, она улыбнулась девушке ободряюще. Толчая, а вместе с нею ропот, все усиливались, хотя казалось, хуже не может уже быть; Долли Яакобус попыталась немного освободиться от напирających, и в то же мгновение была внезапно изумлена, сообразив, что эта темная, худущая девица не только не двигается с места, но к тому же льнет к ней, прижимается своим темным ртом — и притом весьма откровенно — к правой груди госпожи Долли Яакобус под мягким шелковым платьем, тыкается, как котенок. Неиспытанный донине огонь прошел по телу госпожи Яакобус, а вместе с ним — глухой испуг. Она вновь попыталась отстраниться, что было трудно в этой тесноте стоящей и волнообразно колеблющейся толпы, потерявшей всякое подобие очереди, и теперь не оставалось уже никакого сомнения в намерениях девушки: она плотно, явно зазывающе, прижалась к низу живота госпожи Долли Яакобус, и та почувствовала, как жарко, будто в непрерывной лихорадке, пылает это обезьянье тельце. Вдруг девушка подняла лицо и посмотрела на госпожу Долли Яакобус с нескрываемым нахальством.

Тяжелая, влажная, горячая тропическая волна захлестнула Долли Яакобус. Она быстро убрала руку за спину, чтобы не касаться талии девушки, и оскорбленно-сухо поджала губы, но вместе с тем, как бы в бессильном погружении, поняла, что не в силах будет справиться с растущей волною похоти. "Какой беспредельный стыд!" — молнией пронеслась у нее мысль. И еще, она хорошо различала то садистское, что заключалось в этой новой волне вожделения: разорвать, раздавить... А девушка, похоже, не только не боялась, но, по видимому, хорошо понимала происходящее — о, эта всеведущность, древняя, как мир. "Новичок я против нее, — подумала Долли Яакобус. — "Со всем новичок". Прикрыла веки и знала: еще миг — и сама прижмется к той, что стоит перед нею и ждет с такой опытностью. Но в эту минуту начальник почтового отделения послал служащего ко второму окошку, очередь сразу распалась, девушка продвинулась вперед и как ни в чем не бывало подала свои заказные письма. Она покинула почту, не взглянув на госпожу Яакобус.

Долли наклеила марку на свое письмо в Ла-Валлетту — название, в котором не было теперь ни всадника, ни географии, а всего лишь пустой звук, — прикупила еще несколько марок и опустила письмо в ящик, как бы и рада уже отделаться от него. Посмотрела вслед девушке, но та исчезла среди прохожих.

Долли Яакобус пошла вверх по улице, зашла в темноватое кафе, что-то торопливо проглотила и почувствовала, что буря вроде немного утихла; лишь когда вышла обратно на улицу Бен-Иегуда, вновь вернулось подавленное настроение, и уклон улицы показался таким крутым, что ни взойти, ни спуститься — разве что ползком. Поразило ее, как это люди идут и не ощущают крутизны. "Не одолеть мне этого спуска", — сказала чуть было не вслух. Но все же пошла — с какой-то опаской — к машине. Тут повстречался ей знакомый парень из университета, рослый весельчак, весь закутавшийся от бурного ветра, и прошел рядом часть пути, а потом пропал, ступая своими огромными шагами и оставив у Долли приятное чувство и сожаление из-за того, что спешил.

Неизменно возвращалась Долли Яакобус к раздумью: что такое жилище? У людей так много домов, квартир, думалось ей, но у каждого есть одно место, тот единственный дом, о котором он знает, где находится каждый предмет. Лишь об одном из десятков тысяч домов, от которого у нее есть ключ, она знает, что в левой спальне, в верхнем ящике комода, лежит коричневый джемпер с длинным ворсом; лишь в одном — в отличие от всех замкнутых, неведомых ей домов — она знает, как найти, нисколько не колеблясь, столовый сервиз, привезенный Меиром из Испании. Газовую зажигалку. Половую щетку. Постельное белье, что не требует глажки. На этот раз, неподвижно сидя в машине, она уже не была уверена, что связь между этим ее знанием и домом все еще жива. Казалось: вот вернется она сейчас, а ключ совсем не подойдет к двери, и она останется одинешенька во внешней пустоте. Или ключ подойдет, но память о вещах изменит: джемпера не окажется в верхнем ящике комода или же самого комода совсем нет, а стоит на том месте незнакомый стол, а то и вов-

се, весь дом — это всего лишь запомнившийся сон, и ее встретит чужая квартира с чужою мебелью, не ею расставленной по местам. Вместо вида из окна на стены и башни времен царя Ирода — бетонная площадка с генератором муниципалитета, изгоняющим ее, Долли, своим шумом и грохотом. Или рабочие. А может, есть решение о сносе дома, а она и не слыхала.

Приложила ладонь ко лбу — прогнать кошмар. За последние недели этот кошмар являлся ей не раз. Снилось, будто кто-то чужой, кого она на самом деле должна была бы хорошо знать, вторгся к ней в дом, а она не знает, кто это, не может угадать, бьется над этой безобразной, издевательской тайной... Иногда просыпалась со сдавленным криком. Меир, когда был дома, будил ее; теперь она одна, пробуждения от ночного сна тяжести. Часто она оставляла возле себя зажженный ночник. Но подоснова страха не исчезала.

"Нехорошо все это, — сказала себе Долли Яакобус в каком-то замешательстве. — Совсем скверно". И неосознанно желая возобладать над собой, вставила ключ зажигания и решила поехать к бабе Хае.

С погодой все еще происходило странное, но в доме бабы Хаи погода не ощущалась. Здесь сохранялся собственный микроклимат. Меир как-то выразился, что баба Хая — это последний экологический представитель их семейства. Например, петрушку она в магазине не покупает — Боже упаси! — а выращивает сама, как и множество другой зелени, во дворе, где растут также смоквы и лимонные деревья. Ведь это же стыд — ходить в магазин за лимонами, говаривала не раз баба Хая. Благовонные растения, которыми она перекладывает постельное белье в шкафу, сама же собирает на горе, а когда болит спина, просит собрать одну из внучек. Яйцо, по ее мнению, — само по себе пища, а вот зачем в наше время люди так бегают, суетятся и причиняют себе — не приведи Господь! — разные внутренние болезни, портят сердце, — этого она никак не может взять в толк. Не по-человечески, говорит она, живут нынче люди. Стыд потеряли, строят высоко и живут высоко, а выражаются уж совсем высокими словами, мироздание попирают. У всех конторы. Счастье Меира и Бильхи —

никогда она не бывала в их конторе, а то еще взяла бы палку да отдубасила их за все эти окна, что вовсе не открываются, за оконное это вранье да за высокомерие этого ихнего дома. Как-то вышла в город ткань купить на платье, глянула на цену — и бросила ткань обратно на прилавок: бесстыжие вы, сказала продавщице, ну и бесстыжие. И порешила в душе, что не будет больше покупать, пока не убавится у этого мира нахальства, не позволит она спекулянтам отстраивать себе за ее счет дома. Несколько лет назад побывала в Тель-Авиве, вернулась в гневе. С той поры, если осуждает что-то, одно у нее на языке: мол, с изменности это. Преподнесут ей на праздник коробку шоколада в нарядной, расцвеченной обертке, лентой с бантом перевязанной, а она рот презрительно скривит: это, видно, с изменности? Однажды Долли принесла ей книгу молодого сочинителя, она прочитала и опять-таки заключила: с изменности. Всем известно, что нельзя приносить бабе Хае цветы, если не сам вырастил в своем саду. Цветочные магазины она прозвала цветобойнями. В разгар войны Судного Дня напекла пирогов для солдат и вышла в город — потолкаться среди людей. Нашли ее на остановке автобуса в сторону больницы Хадасса: захотелось ей поглядеть на витражи Шагала. Автобусы в те дни не очень-то ходили; Долли увидела ее сидящей на каменной скамье остановки, наверное уж больше получаса, предложила поехать в такси, но баба Хая укорила ее: ты не знаешь, сколько это стоит. К тому же там низко, ничего не разглядишь, а вот в автобусе — высоко, хоть что-то видно.

Теперь она уже не выходит. Устала. Той тихой усталостью, при которой ничего не жаждешь — ни страстей, ни страстишек. Смерть ее не страшит, сказала однажды кому-то из родичей. В жизнь своему телу не перечила и сейчас не стану. Встретила Долли у двери со светлую улыбкой: пойдём на кухню, фасоль пособишь нарезать. Баба Хая никогда не режет фасоль поперек — так лентяйки делают, — но только вдоль: нож рассекает фасолинки, что в стручке, вкус совсем иной.

Сидели на кухне под черными стенными часами, сквозь короткие накрахмаленные кисейные шторы скудно проникал

свет. Долли не знала, для чего пришла. Чтобы излить душу? Так ведь сама не понимала, что у нее на душе. Мрак какой-то, неведомо отчего. И домой возвращаться пока не хотелось. Она смутно чувствовала, что все должно как-то разрешиться, и слепо ждала этого. А баба Хая ражет фасоль и рассказывает.

— Однажды, когда светлой памяти Менахем был жив, пришли в субботу утром двое молодых: "Дохтор, вставайт". — "Куда?" — спрашивает Менахем. "У нашего рава сердечный приступ". Собрался уже идти с ними Менахем, взял свой портфель, и тут я вмешалась. "Как это он с вами пойдёт, — говорю, — ведь суббота нынче, он в машине не может ехать в ваш квартал". А молодые эти отвечают: "Так пускай идет пешком". — "Ну уж нет, — говорю, — моему мужу за семьдесят уже, пешком он не пойдёт". Тогда они мне говорят: "Одну минуточку, сударыня, мы выйдем посоветоваться". Вышли наружу, шепчутся: пшшш... пшшш... Вернулись: "Дохтор, вставайт". — "Так как же?" — спрашиваю. А они отвечают: "В машине он поедет". — "Но ведь у вас там будут камнями бросаться", — говорю. "Дохтор, вставайт, — они говорят. — Все будет в порядке, только езжайт вслед за нами тихо-тихо". Сел, благословенна его память, в свою машину — а оба уже давно не могут быстро ехать, ни машина, ни он, — а эти двое молодых идут впереди машины и кричат по сторонам: "Ша! Ша!.." Подъезжает Менахем к заслону, что полиция устанавливает на субботу, полицейские смотрят — думают, что им снится: разве такое возможно, чтобы кто-то въезжал на машине в Меа Шаарим* в субботу! А пока они протирали глаза, эти двое молодых отодвигают ограждение, и Менахем въезжает. Один полицейский, совсем уже ошалелый, побежал за ними, кричит: "Эй, шабес!"** А эти молодые обращиваются к нему: "Ша..." Едет себе Менахем посреди субботы по этому кварталу Меа Шаарим, и на каждого, кто кричит ему "шабес", они шикают: "Ша!.. Ша!.." Осмотрел он рава,

* Меа Шаарим — квартал в Иерусалиме, населенный фанатичными религиозными евреями.

** Шабес (идиш) — суббота.

дал ему что-то, благословенна его память, и — обратно домой. Ну и смеялись же мы...

— А вернулся-то как? С теми же молодыми?

Нет уж, без них.

— Ну, и как?

— Камнями бросались. А то как же?.. Долли, ты помоложе, выбрось все эти очистки да налей воды в чайник. Меир-то где?

— На Мальте Меир. На съезде архитекторов.

Баба Хая скривила губы.

— Чего это вдруг? Что он там, парень, потерял, на Мальте? А вернется когда?

— Не знаю, — призналась Долли. — Он не сказал, когда точно. Может, на будущей неделе.

Баба Хая была недовольна.

— Что это такое? Муж едет на какую-то там Мальту-шмальту, а жена не знает даже, когда он вернется. Ну и дурацкое же ваше поколение... Ты, видать, даже не знаешь, что в твоём брачном контракте написано. А там ведь написано, что в заморские-то страны он может ехать не иначе, как с твоего согласия. Он хотя бы разрешения-то у тебя спросил?

— Разрешила я ему, — улыбнулась Долли, а на душе у нее было привычно старчески сумеречно. — Да вы же понимаете, он и без разрешения поехал бы. Уж такие они, мужчины. — И вдруг осмелела и добавила. — Может, нам лучше совсем не выходить за мужчин? Может, женщинам на самом деле нужны женщины, а не мужчины?

Баба Хая не желала и слышать такое, руками замахала, будто в ужасе.

— Ну и глупости же вы все болтаете, право слово. Еще чего! Женщинам нужны женщины... Вот ведь, ей-Богу... Фу! Что это вам, Тель-Авив?

Долли простерла перед собою ладони — очень мягко и далеко, как бы привлекая к груди кудрявую головку той молодой девушки из почтового отделения, — с великою нежностью, будто цветок. Вдруг встала.

— Я вам, баба Хая, чаю вскипячу. А то мне уже пора. Вы не вставайте.

Но баба Хая была уже на ногах.

— Вот помру, — сказала она, — тогда не смогу проводить гостя.

У двери поцеловала Долли в щеку старческим поцелуем, в котором уже почти не теплилась жизнь.

— Меиру скажи: недовольна я им, что ездит он так. А еще мне нужно, чтобы они с Бильхой заложили мне окно, там, где я наказала. И в Иерусалиме хватает дел, нечего носиться туда-сюда.

Долли вернулась домой. Там было очень тепло, чисто, стоял безошибочный запах достатка. Она сняла пальто и села к столу, заранее чувствуя усталость, как будто взвалили на нее тяжелую повинность, которой не избежать, но даже приступить — нету сил. Потом, неведомо откуда, явилась резкая воля: сию же минуту, немедленно, нынче же вечером определиться во всем. Ведь она же обязана знать, Долли порылась в шкафу, достала все альбомы, принялась жадно искать свои собственные снимки. Их было очень мало, все со времен бегства. Вот если бы сохранился хоть какой-то снимок с детства, самого раннего, лет с четырех или пяти, думалось ей, наверное, тогда... Но таких нигде не осталось, нигде-нигде во всем мире. Как будто она родилась дважды, и первая, быть может, истинная ее жизнь оборвалась в четырнадцать лет. Потом началась другая: навсегда перелицованная, обстроганная, корнями вверх.

Вновь поднялась в душе огромная волна садистской жалости, захлестывая ту девушку из почтового отделения, — быть может, то самое чувство, с которым девочка любовно играет с куклой и — вдруг наказывает ее, треплет за волосы. "Какой стыд!" — думала, почти шептала пересохшими губами. "Какой поразительный стыд. Да ведь я же чуть ли не нуждаюсь в ней". И вот она уже представляет, как они рядышком сидят тут, за этим столом, учат английский. Долли терпеливо, а подчас теряя терпение, вспыльчиво объясняет, и эта вспыльчивость обращается эротической злобой. Оттого, что день жаркий, а кондиционер не работает, они снимают кофточки. Вот они моют друг дружку. Одно движение — и девуш-

ка у нее в руках. Пташка крыш и водостоков, ничтожная и сведущая.

Было уже за полночь, когда эта волна отпустила. "Прошло, — думала Долли. — Прошло. А ведь чуть было не сделала ужасную глупость. Как вовремя удалось высвободиться из этого. Слава Богу. Ведь каких только бед не способны люди накликать на свою душу". Ночник она не стала гасить, приняла таблетку снотворного и погрузилась в глубокое, непроницаемое забытие.

Назавтра, в десять утра, до последней самой минуты не зная, что собирается предпринять, госпожа Якобус уселась за руль своей машины, захлопнула, плотно сжав губы, дверцу и резко дала скорость. Оставила машину на всегдашней своей стоянке, где в этот день прислуживал другой, не знакомый ей человек, и быстро направилась в контору адвоката Ицхаки. По лестнице поднялась почти бегом — боясь, что передумает. Контора адвоката Ицхаки располагалась не в отдельном помещении, а занимала две комнаты в старом, облупленном коридоре, со множеством других учреждений и туалетов, запираемых огромными старыми ключами, а еще была там клетушка, и в ней — старик, который подавал чай и кофе служащим всех этих контор. Ох, уж эти старики-подавальщики. Кажется, они никогда не умирают. И ходит о них шутка, мол, чем дольше стареют, тем лучше вычищены их медные подносы, а стаканы становятся все грязнее.

Долли Якобус еще рассматривала таблички, когда в конце коридора открылась дверь туалета, оттуда вышла девушка в фиолетовой кофточке, затворила за собой дверь и дважды повернула ключ. Она показалась Долли еще меньше, чем тогда, в почтовом отделении. Прежним недобрим, победным блеском загорелись ее глаза при виде госпожи Якобус. Приблизилась, вся — сгусток наглости, непомерной для такой малюсенькой девчонки.

— Хочешь перейти работать ко мне? — спросила госпожа Якобус и почувствовала, что голос ее, всегда приятный, утратил чистоту, сделался деревянным.

— А чего у тебя делать? — спросила девушка с каким-то пре-

небрежением. — Если блеск наводить, так это не мое занятие. Я вон у адвоката работаю.

— Знаю, — сказала Долли Якобус. — Ты служишь рассыльной у адвоката Ицхаки. Но разве ты не хочешь продвигаться? Хочешь, выучу тебя английскому?

Девушка смотрела на нее тупо.

— Это не будет тебе стоить ни копейки, — сказала Долли Якобус. — Приходи ко мне каждый день на час-полтора.

Девушка недоверчиво склонила голову.

— Да ты сама же откажешься, — сказала она. Возражая, она тщательно выговаривала согласные, будто выплевывая букву за буквой.

— Давай попробуем, — предложила Долли Якобус.

Та смотрела на нее недоуменно, откинув голову назад, поскольку госпожа Якобус была намного выше ее. Запах булочки с маком, которую она только что ела, исходил от девушки.

— В котором часу ты здесь кончаешь?

— Я-то? В шесть.

— Ну вот и хорошо, подходи в шесть к агроновскому дому. Я буду ждать в машине.

— Я-то? Я нонче не могу. Нонче меня на свидание ждут.

"Ну вот, сейчас начну перед ней унижаться", — мелькнула у Долли Якобус мысль, и тут же она ощутила, как будто входит в нее нож, медленно, почти нежно. — "Вот уже завишу от ее желания, от ее парня, который, непонятно, существует ли, — скорее всего, что нет". Жалость заволокла ее взгляд. Она мягко дотронулась ладонью до щеки девушки.

— Хорошо, малышка, пускай это будет завтра.

Похоже, девушка не знала, как отнестись к этой простодушной ласке: она тотчас принялась раскачивать бедрами, подобно гулящей, от которой этого ждут. Долли Якобус проглотила жаркий комок, повернулась на каблуках и стала спускаться по лестнице. И тут девушка навалилась на перила и прокричала ей вдогонку:

— Эй, сударыня!.. Дамочка!.. Послушайте, дамочка!.. Согласная я... Чтобы сегодня!..

И Долли Якобус почувствовала, что слабеет от избытка счастья.

Дома ее ждало письмо от Меира, посланное "молнией", как всегда. Она не сразу вскрыла конверт. Еще было два телефонных звонка. Приятельница хотела пригласить их с Меиром на ужин в ближайшую пятницу, но, узнав, что Меир до сих пор не вернулся, поспешно сказала: "Ладно, тогда отложим до его возвращения. Бай, Долинька, привет муженьку". Затем позвонила баба Хая. Она показалась на этот раз совсем старой — сварливая, раздраженная: почему это Меир все еще не вернулся, да почему до сих пор не занялись ее окнами, или все думают, что она будет жить вечно? Она уже начисто успела забыть, что Долли навестила ее только вчера.

Кроме этого, ничто уже не отвлекало Долли, и она со всею страстью занялась деловитыми приготовлениями: угощение — в холодильник, тарелки — на стол, долго колебалась, выбирая пластинку, а подарок для девушки — новую кофточку в упаковке — положила в спальне. Она купила эту кофточку в магазине детской одежды: в магазинах дамского платья таких размеров не бывает. Трижды выходила в город купить и возвращалась ни с чем. Все исполнилось для нее новизны, стало загадочным и необходимым. Она подгоняла себя и время: живо, быстрее.

Агроновский дом казался в сумерках очень белым. От акаций поднималась серая дымка, смешиваясь с выхлопными газами от множества машин, а уличные фонари да желтые в их свете деревья, выстроившиеся оградой вдоль улицы, выделялись перед дымкой, будто желая показать, какие они сильные. Долли Якобус воспринимала окружающее необычайно резко, все очертания обрели значительность, все было сокрыто тайной, которую нужно уметь разгадать, даже белизна грубо отесанного камня, которым отделан снаружи дом, и фонарь, ясно желающий что-то сказать. В этой дымке и из-за низких облаков свет сумерек был очень тусклым, но Долли Якобус казалось, что еще со вчера — и даже задолго до вчера — свет над нею мутнеет и мутнеет, и потому она не удивля-

лась этому последнему свету совершенно несомненной беды. "Я жду свою любовь, потную, с поддельным запахом фиалок, и ни в одежде, ни в сожитии ей не откажу, — подумала она похоже, как прочитала когда-то в Библии. — О, нет, не откажу".

Все ждала и ждала. Девушка не появлялась. Стайкой прошли мимо машины юноши — из тех, которые чтут наследие, — безразлично взглянули на сидящую внутри. Молодая мать отчаянно, привычно, почти театрально закричала на сына. Обратив лица к агроновскому дому, появились двое знакомых госпоже Якобус иностранных корреспондентов, увидели ее и, вежливо приветствуя, помахали ей. Вдруг акации, соприкасаясь, заговорили между собой под дуновениями ветра. Город смешался в вечернем водовороте, пошел кругами: вот-вот время ужинать, затем — ночь, огни улиц и кинотеатров, тесные компании, горячий запах воздушной кукурузы. Круги сливались, обращаясь в плотный мрак. Девушка не пришла.

Когда часы показали семь, понурившаяся и озябшая госпожа Якобус нажала на педаль и направила машину домой. "Какое счастье, что она не знает ни адреса, ни имени", — подумала Долли. "Не хватало только, чтобы заявила и попыталась вымогать, — может, еще вместе со своим другом: мол, не умничайте, дамочка, нам про вас все известно. А там, небось, еще венерические болезни. И зачем только Ицхаки держит эту ужасную девицу? Да ведь ее... Да ведь ее же надо..."

Она торопливо вошла в дом. Он показался теперь принадлежащим только Меиру: в шкафу его одежда, комнатные туфли... О, Боже, какой позор, что она придумала вытворять такое в этом доме! Даже кофточку, купленную в магазине детской одежды, положила на его половину кровати. Покраснев, смахнула кофточку прочь, а затем выбросила в мусорное ведро. "Я ничего не сделала, Меир, — сказала в душе. — Только собиралась. Но ведь намерение — это еще не поступок, правда, Меир?" Отдернула тяжелую штору — и перед ней открылось прекраснейшее из всех мест во вселенной:

Храмовая гора, гора Сион... "Все тут, все на своем месте, — удовлетворенно подумала она. — Все неисчислимое множество домов погружено сейчас в ночь, будто они — и только они — вполне настоящие, и только у них право на всю благодать, что есть на свете. Вот и здесь, в этом доме: картины на своих местах, книги все там же, не исчезли, носок туфли утопает в ворсистом ковре, доставляя физическое удовольствие... Как я могла, черт побери, как могла?.. Страсти-то какие..."

Вдруг решила позвонить Меиру. Правда, он это запрещает со всей строгостью рационального человека, а она боится вызвать у него раздражение и гнев, но ей необходимо услышать его голос, рассказать хотя бы про окна у бабы Хаи или узнать номер рейса, которым он вернется — такие все пустяки. Объяснила телефонистке международной связи, что не знает номера, но речь идет о гостинице "Феникс" в Ла-Валлетте — да, да, в столице Мальты, Ла-Валлетте, совершенно верно. И вновь представилась ей Ла-Валлетта, такая молодецкая, рыцарская — и очень элегантная. Лишь трудно было представить себе Меира — как он там без машины? Ходит по улицам пешком, бедняжка... Меир давно превратился в кентавра — наполовину человек, наполовину его машина, и, может быть, только в постели он человек во плоти и — весьма слабый. Всегда он в машине. Как только у него, спешившегося, хватает сил — там, в Ла-Валлетте.

Дождаясь звонка, сделала бутерброд и принялась за него, сидя откинувшись на спинку кресла и сплетя босые ноги. Еще немного — и она будет говорить с Меиром, услышит его несколько озадаченный голос — не только сейчас, но всегда, будто сама жизнь по своей сути удивляет его, Меира Якобуса, архитектора, которому легче говорить об оформлении входов в третьем районе, нежели о том, что у него самого в душе. "Отдалились мы в последнее время друг от друга, Меир, — думала Долли. — Но ведь у нас все наладится, правда?.. Вот поговорим сейчас — и все наладится, ведь правда?.."

Покончив с бутербродом, Долли пошла на кухню, взяла яблоко, но тут зазвонил телефон. Она положила немывое яблоко на подоконник и босиком побежала к телефону.

Телефонистка с международной попросила подождать. Затем были оживленные переговоры с телефонисткой в Ла-Валлетте. Потом — со справочной гостиницы. Разные голоса разговаривающих друг с другом через огромные расстояния — вещь, которую Долли никогда не могла по-настоящему себе представить. Телефонистка гостиницы сказала по-французски:

— Одну минуточку, пожалуйста.

А затем:

— Мадам Якобус, для вас разговор.

— Але, — послышался в трубке знакомый, неприятный женский голос.

На какой-то миг она не хотела поверить. Только потом дошло: да ведь это же тусклый голос Эстер, уродины, вечно жующей жевательную резинку, секретарши Эстер, носящей парик. — И очень медленно положила трубку.

Телефонистка с международной не отставала, позвонила вновь:

— Ваш разговор с Ла-Валлеттой, сударыня.

— Я передумала, — сказала Долли. — Прошу отменить, я передумала.

— Ну, вот и все, — громко произнесла она в пустоте дома. — Да ведь, в сущности, знала всегда. Однако, ну и артисты же мы.

Погасила свет и, сев на подоконник, вглядывалась сквозь далекий небосвод в бесчисленные огни. Что-то как будто отчленилось от нее, отпало, — быть может, начало распадаться отныне и навсегда с космической быстротой, и даже нельзя уже вспомнить, была ли она когда-то целой, неразорванной.

— Ну и не надо, — громко сказала Долли картинам, чьи стекла тускло светились в темноте комнаты. — Ну и не надо.

И подумала: "А что — надо?.. Завтра видно будет".

ЛЮБОВЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

— Ах, господин сержант! Ах, господин Фиджойя! — как бы в отчаянии всплескивают они руками, представляясь самим себе в эту затруднительную минуту воплощением старомодной женственности на высоких каблуках и в нижней юбке из черных кружев. — Ах, господин сержант! — В сущности, хотелось бы той и другой, чтобы поднял он их и спокойно перенес на больших своих ладонях. Эва сидит справа, Моника — слева, в костюмах "шанель", по последней моде.

Сержант Фиджойя не вздрагивает от этих аханий. Уже пятый день наведывается он в этот фарфоровый, салфеточный, кружевной дом, где даже стены кажутся связанными из розовой шерсти. Ну, скажите, ради всего святого, на что нужно человеку здравого смысла покрывать толчок в сортире вязанием? Время от времени Фиджойя приподымает руку и отводит от себя в пустоте эти странные вещи, которые, он сам не знает, произрастают здесь — что ли. Однако кофе у них вкусный. И печенье. За эти пять дней понял он, какую великую мощь таят в себе фарфоровые чашки фирмы Мейсен. Сначала он поинтересовался, отечественного ли они производства, а дамочки хохотнули звонким таким смешком, незлобным — как звякают колокольчики, когда настраиваешь музыкальную шкатулку. Сидит сержант Фиджойя, такой грузный, отхлебывает из чашки, отгоняет от себя подальше неуловимое, изучает обстановку.

Уже несколько недель некто беспокоит их по телефону, старушенций этаких, и — кто бы подумал! — говорит непристойности. Смертельный грех совершает человек, смертельный грех. Непомерно огромным, мучительно кровавым, вонючим, как гнилой баклажан, кажется этот телефонный грех. Заразой поражен дом. Все мужское, которое они отсюда изгнали — дым от толстых сигар в туалете, отрыжки, денежные банкноты в засаленных кожаных бумажниках — все это вдруг ворвалось с этими телефонными звонками. Ну и ладно, пускай так и умирает, грешником. Сержант Фиджойя придет и убьет его, прямо у них на глазах, через телефонный шнур. Ему-то позво-

лено, у него — власть. Он призван блюсти чистоту во всем мире. Правда, он мужчина, сержант фиджойя, но запах от него тонкий-претонкий, легкий запах фисташек, не больше. Мундиры у полиции чистые.

— Если это не прекратится, — говорит Моника, — мы сменим квартиру. Эта квартира уже навсегда загрязнена,

— Квартиру мы, конечно, не сменим, — поправляет Эва. — А вот помеху эту устраним. Верно, сержант Фиджойя?

— Ну, хорошо... А голос-то у него какой? — спрашивает сержант Фиджойя уже в десятый раз. Не удастся ему вытянуть из них сколь-нибудь существенного описания.

— Как у спортивного корреспондента. Только медленнее, — растерянно отвечает своим простуженным голосом Эва.

— Сударыня, это не определяет человека, — с упреком говорит Фиджойя. — Это просто у вас такое воображение.

У отца сержанта Фиджойи было две жены, в двух домах, очень красивых, один подле другого, построенных им самим. А с Господом он разговаривал, стоя в скотном сарае. Однажды глубокой ночью в дверь постучал араб. Неутешно плача, он рассказал господину Фиджойе из-за двери, что год назад обманул того, не доплатив за мешок сена, и с той поры на этом арабе и на всем его семействе — проклятье, ни один день не прошел для них хорошо. И вот теперь — из-за двери, из ночной тьмы — просит он, дабы господин Фиджойя простил его. Господин Фиджойя простил. Дверь не открыл. Слышно было, как удаляется плач, но господин Фиджойя не сдвинулся с места. Дети наблюдали за ним из-под одеял и решили про себя, что когда-нибудь построят алтарь и будут приносить во имя отца жертвы. Если раньше, не приведи Господь, не поднимется буря и не унесет отца на небеса. Или же не сотворится для него некий иной мир, и он перейдет туда.

Нынче дома другие, человек даже не знает, по чему он ступает. И вот, привились и пустили в таком вязаном доме побеги эти две — с ангельским этаким лукавством, за веерами несуществующими, — а нет чтобы жить им в надежном месте, в окружении детей и внучат. Смутно тут что-то. Неясно.

Когда в первый-то раз он пришел, услышал крик из угла, быстро обернулся, рука на кабуре. Оказалось — попугай ихний, ара этакий большой, тропический, а зовут они его — Сила. Где это слыхано, чтобы попугая звали Силой. Ведь это даже надругательство. Не то чтобы намеренное, но так получается. Этакая слякоть. Или вот вчера: пригласила его Моника, чтобы остался пообедать, Эва заглянула в холодильник, посоветались тихо промеж собой, мол, есть у них кулебяка, а ему послышалось "собака", и волосы встали дыбом.

— Так вот, мучитель-то этот в последнее время... даже после полуночи, представьте себе, господин Фиджойя. Вот так будить, ночью?..

— А есть у него постоянные часы?

— Ничего постоянного.

— И подолгу он сквернословит?

— Когда как. Иной раз скажет одно слово и кладет трубку.

— Много их таких подонков, — говорит сержант Фиджойя..

Они слабо, как испуганные уточки, взмахивают ручками, желая отстраниться от этого беспокойства, даже — фу, фу! — не упоминать о нем. Как только сержант Фиджойя поднимается уходить, звонит телефон. Моника и Эва глядят друг на дружку.

— Возьмите трубку, сударыня, — по-боевому приказывает сержант. — Скажите только "алло", и если это он, немедля трубку передайте мне.,

Эва стоит у телефона, и платье на ней дрожит от сердцебиения, а сержант Фиджойя, очень крупный, стоит рядом с ней. То есть не то, чтобы он такой уж крупный — бывают и покрупнее, — но именно в эту минуту он такой. Эва тоненьким голоском произносит "алло" и тут же передает трубку Фиджойе, прямо бросает ему в ладонь, как что-то гнилое.

Сержант Фиджойя несколько секунд слушает, от омерзения кривит рот, а затем произносит:

— Это полиция. Заткни свою грязную пасть, мы уже напали на твой след, подонок... Ты будешь обвинен по статье...

Но тот не ждет про статью. Кладет трубку. Сержант Фиджойя медлит минуту, глаза очень воинственные, затем тоже опускает трубку.

Они ждут от него чуда. Если не полиции, то кому совершать чудеса?

— Кто это, господин сержант? Вы его знаете? Опознали? Полиции он известен?

А он стоит и раздумывает и долго молчит, а потом произносит:

— Это не обычный преступник. Обычный преступник услышит "полиция" — пугается. Этот не испугался. Злоумышленник он.

— Злоумышленник... — вторят они, как эхо, и руки у них опускаются. Какое это ужасное слово — злоумышленник.

— Ничего, — говорит Фиджойя. — Мы его разыщем. Есть у нас способы. — Он достает блокнот и что-то записывает. — Я сейчас пойду на телефонную станцию, а вы, если услышите во время телефонного разговора вроде бы звук такой, немножко непонятный, так знайте, что так оно и должно быть, это мы подслушиваем. И вы в дальнейшем должны принимать участие.

— О, да! — отвечают они. — Конечно же, мы будем принимать участие. — Их переполняет страх.

— Иначе говоря, попытаемся поймать его сообщца. Ежели он позвонит, то не бросать трубку сразу, как это сделала давеча госпожа Эва, а наоборот, нужно завязать с ним разговор и протянуть подольше. А за это время на телефонной станции смогут засечь, с какого телефона он звонит, и тогда мы поедем туда и возьмем его на горячем. Понимаете?

— О, да, — отвечают они очень грустно. Фиджойя знает, что ох как нелегко будет им долго разговаривать с этим подонком. Смотрит он на них и понимает: не смогут. Но ему нечего добавить к сказанному.

— Другого способа нет, — говорит он и уходит.

Шагает он красиво, музыка у него играет где-то там, между плеч. Они слышат, как уезжает машина, а вместе с ней — вся их защита.

— Даже не пригласили его пообедать, — с сожалением произносит Моника.

— Он бы не остался, — говорит Эва. — Некогда ему.

Обе сидят в креслах, вытянув старческие свои руки между ног и неподвижно глядя на телефон.

— Не глядеть целыми днями на телефон!!

Голос Тибериуса Колтаи, как гром, прокатывается по комнате. Он пришел со скрипкой в футляре, чтобы прямо отсюда пойти на еженедельный концерт в ИМКА.* Скрипач Тибериус черен, как журавль долговяз, очкаст и каждым движением высоко-высоко вскидывает гирлянды разноцветных стеклянных шариков, протянутые через комнату. Этакое готическое у него движения. А еще — живет он в обратном направлении. Когда пришли немцы, девятилетний Тибор Колтаи был очень стар. А теперь он мальчик — и с каждым годом все молодеет. Останавливается возле клетки с попугаем.

— Си-ла! Си-лааа!!!

Попугай смешался, заклекотал, заклокотал от злобы.

— Я тебя съем, — заверяет Тибериус. — Ты у меня в духовку угодишь, а оттуда — Тибериусу в желудок и станешь попугаи-Колтаи. Еще сегодня вечером.

— Да перестань ты, Тибериус, — раздражается Моника, а Эва замечает:

— Незачем тебе грезить о попугаях. У нас есть отличный суп. Положи свою грозную скрипку там, в углу, да сядь по-человечески.

— А-а-а! — радостно рычит Тибериус. — Я загляну в холодильник, в кастрюли, я раскрою все двери.

— Ты знаешь, что тебе не позволят, — говорит Эва и закуривает сигарету. — Садись и жди.

— Я задеру вам юбки, — грозит Тибериус страшным шепотом.

— Тибериус, ты наскучил. Скажи лучше, что вы сегодня играете?

Его лицо искажает гримаса.

— Ф-фу! Листа. Грига. Рахманинова. Программа для дев-

* ИМКА — "Объединение молодых христиан" — общество, создавшее по всему миру много общественных, образовательных и спортивных центров и клубов для молодежи.

ственников обоих полов. А дирижер! Непонятный, глухой и самый тупой из всех, что были в этом сезоне. Вчера на репетиции, в середине Грига я сыграл ему целых четыре такта "Ах мой милый Августин, Августин, Августин" — а этот глухарь и не почувствовал. Непроницаемый, как стена. Сегодня устрою ему то же самое.

— Ты не посмеешь — на концерте!

— Посмею... Услышите по радио. Это будет перед концом первой части Грига. — И Тибериус принимается напевать в точности это место, но женщины озабоченно глядят на телефон.

— Не глядеть целыми днями на телефон! — снова кричит Тибериус, а Моника добавляет из кухни:

— А ведь верно. Он еще ни разу не звонил во время концерта.

Кухонька крошечная, ну просто чуланчик. В ней — маленький холодильник, покрытый вышитой скатеркой, раковина да плита, и Моника крутится между ними на одном месте, как юла, занимая в этом пространстве выверенное до последнего микрона, освещенное место,

А на улице они с Эвой — ну просто картинка, картинка из журнала дамских мод. Шьют они для себя сами, материю получают из Англии, и уже лет сорок, если не больше, они — гордость всей округи. Моника — вечная холостячка, а Эва когда-то была замужем, приехала сюда с неудачной своей дочерью, по имени Штефи, и они проненавидели друг друга несколько лет, пока Штефи не выросла и не уехала из страны. А Моника и Эва остались вдвоем. По улице не идут, а шествуют, как две царицы, медлительно, окруженные почтением. Улыбки дарят направо и налево, но не без того, чтобы заранее не посмотреть, кому именно. А какие туфли, какие прически! И были первыми, что появились при длинном рукаве из-под короткого рукава. И цвета, что на них, — не просто цвета.

Они нас вводят и выводят из сезона года. Если они надевают твидовые юбки, — значит, подошла осень, и вдруг ока-

зывается, что наши летние платья — это никчемные тряпки и их необходимо упрятать подальше. А когда эти законодательницы моды впервые выходят в цветастых платьях, двигаясь по улице медленно и величаво, словно во главе процессии, то это значит, что они официально, как послы, провозглашают пришествие настоящей весны.

Маленькая Моника просит Эву, которая повыше ростом, чтобы та достала с полки тойфельную сковороду. Тойфельная — это на языке Моника тефлоновая, но она не в силах запомнить таких сложных наименований. Иногда Эва при- стает:

— Моника, как это сказать — медитация?.. Ну, какая?

— Что-что? — пугается Моника, пытаюсь сосредоточиться.

— Ну, Моника, медитация транс... транс...

— Трансистерическая! — и Моника победоносно сияет — так, что на нее невозможно сердиться.

Тойфельная сковорода Моника уже шипит на огне, словно адская, а Тибериус, развалившись в кресле и вытянув ноги во всю длину, причитает над своей судьбой:

— Ну почему я должен сегодня играть? Почему? Ох как это несносно!

— Потому что ты получаешь зарплату, — говорит Эва, накрывая на стол.

— Я страдаю раздвоением личности, — очень мрачно сообщает Тибериус.

— Не болтай, — говорит Эва. — Твоя личность слишком мала, чтобы раздвоиться.

Но он не слушает. Берет со стола кусочек сахара и усердно сосет. Всегда он сосет сладкое. Карманы у него полны конфет. Даже во время концерта сосет. И Моника и Эва смотрят на это с некоторым осуждением.

Тибериус Колтаи по возрасту годится и той и другой в сыновья. Возможно, и станет таковым спустя несколько лет, когда окончательно впадет в детство. А они уже более двадцати, если не все тридцать, не меняются, точно забальзамированные. Все та же Моника, все та же Эва. Разве что не та-

кие уже гибкие. Они не умрут — рассыпятся, придет час. Как свадебный пирог, что выставлен уже двадцать лет в окне пекарни. Они всегда вместе ходили на концерты, но сейчас зима, и лучше посидеть дома и послушать концерт по радио. И приходит Тибериус, садится — как журавль приземляется, подбирает полы своего плаща, помогает заполнить налоговые анкеты, отыскивает в чековых книжках потерянные суммы. Моника вечно путается в этих чековых книжках.

— Черт! Нельзя выдавать чековые книжки этой женщине! — кричит Тибериус, а Моника улыбается и подливает ему еще супу. Тут и за электричество, и местные налоги, и за воду... Так сложно. Тибериус ворожит над счетами и считает по- венгерски.

Все трое едят рахваленный Эвой суп, и женщины рассказывают про Фиджюю, который пообещал устроить подслушивание. Тибериус нетерпеливо прерывает:

— Ничего им не найти. И не поймают они никого. И вообще, этого человека нет.

— То есть, как это нет?

— Это все из вашего подсознания.

— Но, Тибериус, мы же слышали его. И Фиджюя тоже слышал.

— Вот то-то и оно, — с видом победителя говорит Тибериус. — Вы его создали.

— Тибериус, ты говоришь глупости.

— Я говорю не глупости. Почему ко мне никто такой не звонит? А? Потому что у меня подсознание в порядке.

— Твое подсознание вызывает отвращение, — говорит Моника. — Не понимаю, зачем мы тебя кормим все время.

— Потому что моя жена не умеет варить. — Тибериус успокаивается, теперь у него уже голос взрослого ребенка. — Сколько раз я ей говорил: "Рози, ведь если это не работает, — он шлепает себя по впалому животу, — то и это работать не будет". А она не понимает.

— Твоя Рози — ангел, — говорит Эва. — Не знаю, какая другая женщина терпела бы, когда ты включаешь радио в три часа ночи и ловишь концерты на коротких волнах.

— Да еще визжишь каждый раз, когда слышишь фальшивую ноту, — добавляет Моника.

Рози никогда не просыпается, — недовольно возражает Тибериус.

И в этот миг раздается звонок. Обе подпрыгивают. Ложка с супом застывает на пути ко рту. Тибериус встает и подходит к телефону.

— Алло. Да, да. Хорошо. Я передам. — И обращаясь к ним. — Это с телефонной станции. Сказали, что они прослушивают вашу линию. Начиная с этого времени. И что вам следует затягивать разговор как можно дольше.

— Ну, слава Богу.

У женщин легчает на душе. В мире восстанавливается порядок. Медленно, с трудом, но он уже заметен. Стрижи снаружи чертят спирали — словно крошечные черные угольки над костром, вздуваемые ветром, — и ловят последний красный свет. Зима. Да здравствует подслушивание! Его поймают, это точно. И дождь пойдет — дайте срок.

То же чувствует и Тибериус:

— Это превосходно. Теперь я готов ко всему. Даже к Григу.

Он одевает свой черный плащ. У двери оборачивается и кричит:

— А кроме того, возлюбленные вы мои, не существует этого человека. Это все ваше подсознание. Это вам говорю я, Тибериус.

Госпожа Кабасо из квартиры напротив, тщательно упакованная и напомаженная, подглядывает через глазок в двери. Ей нравится, что зачастили сюда в последнее время полицейские. Семейство Кабасо переехало в эту квартиру только два года назад, заплатило уйму денег, и вот, нате вам, полиция. Они-то, Кабасо здесь, конечно, ни при чем. Вот и сейчас там какой-то — нет, не полицейский, но, может, тайный агент с футляром из-под скрипки. Ах уж эти старухи, да еще холостячки. Кто знает, что они там у себя творят.

Госпоже Кабасо очень бы хотелось, чтобы эти старухи исчезли отсюда. Дети ее подрастают, и она не упускает из виду квартиру напротив. Еще несколько лет — и обе квартиры можно будет соединить в одну. Вот тогда будет дом что надо. Ведь не вечны же они, эти старухи. Подождем, есть еще

время. И план тоже есть. Однажды она заглянула к соседкам, якобы занять пол-лимона, и тут же прикинула, где и какой установить буфет. Краем глаза.

Вечером, перед концом первой части Грига, обе сидят, близко-близко склонившись к радио. И вот, из гущи скрипок тоненько и бесстыже раздается: "Ах мой милый Августин, Августин, Августин". Они ошеломленно глядят друг на друга.

— Нет!!

— Посмел-таки!

— Однажды его вышвырнут из оркестра, — говорит Эва, а сама не знает, то ли испугаться, то ли смеяться. Подбородок у нее дрожит.

— Ах Тибериус! Что ты за человек? Ах мой милый...

У Моники есть тайная слабость: она ежедневно меняет постельное белье. Она не может лечь в постель, если простыня хотя бы чуть-чуть помята. Для нее великое наслаждение — снять вечером покрывало и созерцать свежие, белоснежные, прямо из прачечной простыни. Будто сама сущность сна обновляется для нее, будто предстоящий сон — в первый раз в жизни и не случался никогда прежде. Моника не просто влюблена в чистоту, Моника сама — воплощенная чистота. Каждый вечер совершается у нее очищение. "Грязный молодой — это, по-моему, даже мило, но грязный старик — упаси Бог", — любит повторять она. И поэтому она принимает ароматические ванны по два-три раза в день. А какое для нее наслаждение — улечься в свою особенную постель!

И из этого наслаждения позвать:

— Эва.

— Что?

— Кто моложе — Иерусалим или Мертвое море?

Эва улыбается долго-долго, гасит сигарету.

— Почему ты спрашиваешь?

— Мне Мертвое море кажется моложе, — говорит Моника.

— Иерусалим — дедушка Мертвого моря. А теперь спи.

— Иерусалим всему-всему дедушка.

Молчание. И снова:

— Эва.

—Что?

— Как тебе Фиджойя?

— Думаю, что он симпатичный человек. Что же еще?

— У него улыбка, как арбуз... Эва, опять ты куришь в постели. Я даже отсюда чувствую.

— Молодой мне уже не помирать, — грубо отвечает Эва и гасит свой ночник. Ей хорошо известно, что она нарушила уговор: о смерти между ними — ни слова.

Моника обижена.

— Спокойной ночи, Моника.

Ответа нет.

В полчетвертого ночи звонок. Моника из своей комнаты, как из темной пещеры:

— Эва, подойди!

— Нет, подойди ты.

— Я не подойду.

Молчат. А телефон звонит и звонит. Наверное, весь дом разбудил. Можно представить, с какой кислой миной выйдет госпожа Кабасо утром.

— Ну уж ночью — мы и впрямь не обязаны подходить, — говорит Эва. — Да и тот, на телефонной станции, что должен подслушивать, наверняка ушел спать. Напрасно только потратим нервы на это хамство.

Телефон звонит еще несколько раз и замолкает. Но весь дом все еще дрожит.

— Подумаешь, герой, — тихо бормочет Моника под одеялом.

Утром солнце. Стрижи летают очень высоко. Эва замечает со скрытой улыбкой, что Моника не вытерла пыль с телефона: боится прикоснуться. Эва берет тряпку, чтобы стряхнуть с него пыль. Телефон звонит у нее под рукой, и она отскакивает в другой конец комнаты, будто это взорвалась граната. Но звонит Фиджойя.

— Госпожа Эва? Все в порядке?

— Д-да.

Ни за что на свете не расскажет ему, что они не подошли ночью к телефону.

— Я только, чтоб вы знали, я тут сегодня дежурю. В случае чего, тотчас приеду. Вы, главное, поговорите с ним подольше, с подонком с этим. Не бойтесь, он ничего не сделает. Мы его выловим, будьте спокойны.

В отделении старший полицейский Авитан говорит Фиджойе:

— Тоже мне, дело нашел — заниматься им целый день.

Сержант Фиджойя смотрит на него холодно.

— Ты, Авитан, даже десять курсов прослушаешь в полиции — тебе не пойдет впрок.

— Это дело не из опасных, — упорствует Авитан, строго подчеркивая каждое слово. Он явно не понимает Фиджойю.

А Моника в это время говорит Эве:

— Эва, давай уедем отсюда. Отдохнем. На Мертвое море. На неделю, на две. Тогда это само собой прекратится...

— Это трусость, — отвечает Эва. — А кроме того, кто будет цветы поливать?

— Госпожу Кабасо попросим.

На лице у Эвы гримаса.

— Да у нее же все погибнет. Я ей дала диантус в прошлом году — погиб. А посмотри на ее герань. Убить герань — для этого на самом деле нужен большой талант. Но я тебе вот что скажу: мы поедем на Мертвое море, обязательно поедем, но только когда выловят этого... Вот тогда и поедем. Как бы в награду себе.

...Внезапно захлестывает яркое, красочное видение. Паразитическая синева меж коричнево-фиолетовых, как сильный загар, нагромождений скал. Асфальтовое шоссе вдоль моря. Заросли молчаливого тростника. И благоденствие пальм. Иерусалим вдруг кажется слишком зимним и очень ветхим, полным каменного хлама.

— Правда, поедем? — переспрашивает Моника.

— Конечно, поедем. Но сперва покончим с этим делом.

Эва собирается выйти и надевает маленькую шляпку. Моника напоминает:

— Не забудь купить черных ниток для машины.

— Хорошо. И, Моника, вот что, подойдешь к телефону, если зазвонит. Безо всяких. Слышишь, Моника?

— Ладно. Только побыстрее возвращайся.

Эва уходит. Потом возвращается. Вновь выходит... и непрерывно, нервно звонит к соседям напротив, к семейству Кабасо. Открывает Кабасо-сын, который служит в патрульной части.

— Моника... — говорит Эва. — В ванной... На полу... Мокрая... Она мертвая...

Бегут туда. Такая маленькая. Такая жалкая. Тельце сморщенного птенца. Кто еще такой сморщенный, как птенцы? Старики да бутоны?

Эва дрожит всем телом, но говорит отчетливо — так говорят, когда все очевидно.

— Ну, ясно. Зазвонил телефон. И она перепугалась. Хотела побежать. И сердечный приступ. Наверно, перед тем, как упала. А может быть, после. Нет, врача звать нет смысла. Видно же...

— Да, — соглашается Кабасо-сын. Молодых он видел мертвыми на поле боя. А вот голую мертвую старуху не видывал отродясь. Ее вид поражает его. Да еще в ванной. — Давайте-ка накроем ее чем-нибудь, — говорит Эва. Чего-то ему здесь не хватает. Возможно, шейной цепочки с биркой, на которой выбит личный номер солдата.

Они накрывают Моника. Собирается множество народу. Толпятся на лестнице. Старший полицейский Авитан прокладывает себе дорогу. Внизу, возле полицейской машины, стоят дети, хотят узнать, как действуют ее мигалки, — и нет никого, кто бы показал. Эва сидит в кресле очень прямая и говорит:

— Она испугалась, потому что была голой. Такой звонок — как раз когда она голая, — это ее испугало. Да еще одна дома. Возможно, это был тот мучитель. Если она хотя бы надела халат. Если бы она только успела надеть халат. А то ведь... Это ужасно жестоко — в то время, когда человек голый. Беззащитен он. Нет, спасибо, я не хочу кофе, спасибо, вы все очень милые люди. Я приму сейчас таблетку и буду в полном порядке. Спасибо вам всем. Все потому, что она была голой.

Ванная благоухает лавандой. Кабасо-сын спрашивает старшего полицейского Авитана:

— Кому-нибудь еще нужна вся эта вода?

Авитан нагибается, погружает в воду руку и вытаскивает пробку. Ароматизированная вода медленно пошевеливается и убегает в шепчущую воронку, а в завершение издает нечто вроде глубокого вздоха — звук конца.

Госпожа Кабасо, стоя у входа, краем уха слышит этот звук и про себя отмечает, что нужно будет проверить канализацию — еще до того, как дети перейдут сюда жить. Запах лаванды остается совсем недолго и выдыхается.

Хоронят Моника в день, когда горы взбухли от дождя, а стрижи, как черные значки на полях корректур, расселись по проводам и антеннам. Нервозность, много ошибок. Все скомкано. Эва — королева, ушедшая в отставку. Королев моды должны быть две, а теперь она осталась одна. Пальто, которое на ней, как будто с чужого плеча, старое-престарое, да и в лице ее немного осталось от прежней Эвы. Тибериус стоит с вытянувшимся лицом, время от времени достает платок и пытается вернуть лицо на прежнее место — исправить раздвоенное изображение. Моника забрасывают землей. Дождь усиливается. Все кончилось. Эва останавливается у одной из мокрых сосен и говорит Тибериусу:

— Тибериус, это правда?.. Правда то, что я подумала?

Он склоняет свою уродливую голову. Лицо у него мокрое.

— Но зачем?

— Т-т-такая вышла шутка... н-неудачная.

Эва тяжело кивает. Теперь она выглядит глубокой старухой.

— То не было нашим подсознанием. То было твое подсознание.

— Я хочу умереть... — стонет Тибериус.

Фиджойя стоит на тропе, что повыше на склоне. К могиле он не спускается, не желая толкаться.

— Госпожа Эва. Мне очень жаль. Искренно. От всей души. Если потребуется помощь...

Эва кладет мягкую руку на его рукав, а второю обнимает руку Тибериуса, как бы заключая с ними двумя союз.

— Господин Фиджойя, это наш приятель, господин Колтаи, из оркестра. Он, это он...

И вдруг она пугается, что сержант Фиджойя накажет его. За "Мой милый Августин...". Может быть, не стоит, чтобы они познакомились? Все так непросто. Человек знакомится с сержантом полиции, и вдруг узнают всю его поднаготную и выбрасывают из оркестра, Эва бледнеет, и Фиджойя усаживает ее на камень.

— Вы будете навещать госпожу Эву, — приказывает он Тибериусу.

— Да, я буду приходить. Каждый день.

— Каждый день, — повторяет Фиджойя, глядя на него пронизывающе. И оба понимают, что это приговор.

Перевод с иврита Валерия Кукуя

Василь СТУС

НЕПРИКАЯННОСТЬ НАМ НА РОДУ

Перевод с украинского Даниила Надеждина

* * *

Обмерзшее, в наледи стонет окно,
и свечка в стакане, в бутылке вино,
и в горле простуда, и на сердце — тьма:
заходится вьюгою зверь-Колыма.
Провалы и кручи. И холм за холмом.
Рехнись в ожиданьи, молясь об одном.
Волшба, заклинания, слово во сне
И брызгами — кровь или тень — на стене.
И слишком далеко, за снегом времен,
где в ветре свободном кудрявится клен,
где красной калине назначено цвести,
на том уж спасибо, что где-то вы есть,
где ревом немим задохнулся Днепро,
где Нестора апокрифично перо.
А в горле простуда, а на сердце — тьма,
и свет обступает стокрик — Колыма.

* * *

Той трубной мне судьбы
 к чему теперь тревога,
 когда мои мольбы
 не достигают Бога?
 К чему твои труды,
 всей канители груди,
 когда во все следы
 ступает тень Иуды?
 Обманутый отряд
 за перевалом тает,
 и в долах проступает
 тщеты усталый взгляд.

* * *

Позволь мне нынче около шести,
 когда уже вокруг повечереет
 и транспорт заспешит часами пик,
 я из тоски, с затянутого неба,
 из забытья, из тягостной разлуки,
 от долгого надрыва захмелевший,
 на Брест-Литовский упаду проспект,
 на отчужденность просеки четвертой,
 где только громкий грохот автострады
 мне скажет: сердца гулкие удары
 звучат с родной землею в унисон.
 Из муравейника людей, из прорвы лет
 я вырву память дней перезабытых,
 что стали снами и тоскливой явью,
 как раны, что затянуты рубцом.
 Любимая, не станешь ты перечить?
 О, не страшись, среди людской толпы
 я пропаду, растаю, затеряюсь,
 чтоб ненароком взгляд пугливый твой
 ножом мне прямо в сердце не вонзился.

Ты не пугайся: я пройду, как тень.
 И уж когда ты девочкой простой,
 что перед целым светом провинилась
 такую детской чистотою взгляда
 и слабостью невинности — когда
 неторопливо из трамвая выйдешь
 и перейдешь дорогу, чтоб нырнуть
 в лохматый сумрак сосен вековых,
 тогда рвану я сердце за тобою,
 изранившись кустарником колючим,
 следя твой след, который лег от края
 моей души на весь огромный свет.
 Как одичавший пес, пойду в твой шаг,
 в родные выемки твоих ступней
 свой стыд, свой страх, свою обиду пряча,
 и радость, и желание, и боль.
 Я буду только тенью тени тени,
 спаду с лица, из опыта, из лет,
 одним лишь сердца жилистым листочком
 я покачусь под ветром бурь моих.
 Вот наша дверь. Вот подошла ты к ней.
 Звонишь — и так легко открыла
 такую тяжесть — райские врата.
 Сын отозвался наш. Позвать бы. Но
 подать мне голос — не хватило сил.
 ...Прервался сон. Качалась на стене
 петлею пережатая дорога
 домой, колючей проволоки тень
 набухла ночью и бежала пауками
 по вымерзшей стене. Глухой плафон
 разбалтывал баланду ночи. И рассвет
 висел над частоколом. Дребезжащий
 звонок, как пробку, выбил из бутылки сна
 очередного утра тину...
 Умереть
 нам на дороге возвращенья —
 то слишком сладко, чтоб Господь
 не положил в судьбе нам изголовье.

* * *

Я друзей к себе снова веду —
 полуискренни, полужнакомы —
 сели кругом на житней соломе
 мы на солнце трипольском в саду.
 После грустную песнь заведу,
 когда сумерки скроют полсада.
 Как судилось нам, так вот и надо:
 неприкаянность нам на роду.
 А пробудится память — и хвощ
 покачнется под чьей-то рукою.
 Хорошо-то как! Над головою
 обложной собирается дождь.
 В котелке закипает вода.
 И начистив картошки и рыбы,
 Мы наварим похлебки — и с хлебом
 пообедаем у пруда.
 Лука нет — это жаль — чем-нибудь
 затереть бы — да нет — и не светит.
 И ни жизни тебе, и ни смерти,
 ни по совести вольно вздохнуть!
 Чесноком хоть краюху натрешь —
 вот и сбита той жизни оскома.
 Дымом, полымем пахнет солома, —
 миг — и кровью окрасился нож.

* * *

О сколько слов, как привиденья ночи!
 Свистят все мимо, пулями в бою,
 обходят все живую суть твою,
 а только строчат, строчат, строчат, строчат.
 И я иду сквозь слов обманную стену
 досель незнанных. Край передний тут.
 Мои бойцы — слова лишь. И несут
 воспоминания в себе измену.
 Не ошибись, доверившись добру!
 Сам Вельзевул здесь простирает длани.

Растет усталость из воспоминаний.
 А победит усталость — и умру.
 И там меня безносающая источит,
 где с радости ли, с горя — слез не льют,
 а так — живут и смерть свою жуют.
 О, сколько слов, как привиденья ночи!

* * *

Душа так ласкова, как озеро,
 и малость синим отдает.
 Тут, между Туровом и Мозырем,
 теперь прибежище мое.
 Здесь солнца свет совсем особенный
 и день играет среди трав.
 Со мною рядом белым соболем
 любимой плещется рукав.
 Была ты мне голубкой суженой,
 что распластала два крыла
 и мальчиком, ребенком, мужем
 меня до неба вознесла.

* * *

Здесь пласт забвения подвластен снам,
 и прошлым сны любят, как змеи,
 здесь на подмостках пережитых драм
 паясничают, словно лицедеи
 вертепных интермедий. Здесь, во мрак
 запрятавшись, пропитанное смертью
 живет. И ока гробового зрак
 на нас лежит и, как печатью, метит —
 не потерять бы. А едва заснешь,
 и в сон проклятье, острое, как нож,
 войдет и в сердце роется разверстом.
 То он — мой первый враг: не упустить
 и кровью нож моею окропить,
 чтоб стал и ты таким, как надо, — черствым.

Как хорошо, что смерти не боюсь я,
не спрашиваю, тяжек ли мой крест,
что пред судом лукавым не клонюсь я
в предчувствии неразличимых верст.
Что жил-любил и не набрался скверны,
не каялся и душу уберег.
Народ мой! Я вернусь к тебе, из смерти
обратно к жизни выйдя в должный срок.
Лицом незлым, челом со знаком крестным,
как сын, тебе я земно поклонюсь
и честным взором взор твой встречу честный
и с отчею землею породнюсь.

На украинском языке стихи были опубликованы в журнале "Сучасність" №11, 1977; № 2, 7, 8, 1981, № 6, 1982.

Е. ТЕРНОВСКИЙ

ПЕРЕБОИ

Из "Парижской тетради"

ЧЕРЕЗ МОСТ МИРАБО

М.Н.

Вечер ступил на безумные стога
града, что Господа из себя исторгнул,
хотя это сделал и без восторга,
твердил в унисон: "Il s'en va, my boy".
Бледней перламутровый холм Монмартра,
туч золотистых проходит эскадра,
над Марсовым Полем прощаясь до завтра,
поскольку цель жизни — мост Мирабо.

Розовым камнем и воском полны глазницы
Левого берега, и некуда приземлиться
птице, забывшей летать и молиться
на полицейского, вступающего в разговор
с двухсотлетним кентавром, несущим вахту.
Обнаженная дива восходит на яхту,
и турист, обращаясь к бесспорному факту,
от подзорной трубы не отводит взор.

Здесь пространство назначит вам встречу заране.
 Торжествует Америка в арандисмане
 русском (пятнадцатом). И в тумане
 фригиянка с дрожью глядит на затор.
 Но архитектор, точнее асса,
 приземлил на полях постаревшего Марса
 башню. И облаков шоколадных масса
 окружает сливочный Сакре-Кер.

Вот и готов почтовой открытки глянец,
 на которой старательный американец
 наваясь спортивным телом на палец,
 пишет домой в Нью-Сити из отеля Nikko.
 Пространство тебя позовет — отзовись, но
 вы скажете — родина род атавизма,
 куда давно не доходят письма,
 откуда уже никогда никто.

Никогда и никто, — но, облокотись о перила,
 лучше вспомни, что не было и что было,
 потому что осталось от горечи и от пыла
 синька вечера, лампочки вполнакала, пыль,
 мост Мирабо, кровавые вопли джаза,
 два иностранца уже непонятной расы,
 репродуктор речного трамвая, огни террасы
 и посредине моста брошенный автомобиль.

Поздно, уже темно. Прогуляться, но все без толку,
 подождешь, покуда для смертного день умолкнет,
 и густеет набережная машинами, как барахолка,
 поглядишь на серый жемчуг домов в тени —
 (как на икону смотрит скучающий богохульник,
 надо признаться — редкостный здесь, как багульник)
 даже если бы вечер был веселей и разгульней,
 я б не вскричал мгновению — повремени.

Скука меня научила, что Время — лучшая вера.
 Вот и закат над Парижем — не так далеко до примера

под мостом Мирабо, как сказано у Аполлинера
 текут не млеко и мед, а если и что течет...
 Пока с отвращением, на бегу застывая,
 черновиком в ночи скрывается мостовая,
 и строк случайных, то есть печальных, не забывая,
 но не смывая, не принимая в счет.

* * *

Долгий день, но уже кончается лето.
 Два клошара в обнимку у парашюта
 методистской церкви, и к ним обратиться
 столь же бессмысленно, как и от пекла укрыться.
 Пожилой гарсон, на террасе кафе, расставляя приборы
 (для привидений, должно быть) видит не вас, но горы,
 море и деревушку в Бретани и Перигоре,
 автодорогу, харчевню и снова море.
 В августе город Париж пустынее Гоби,
 где разговор случайный становится вашим хобби,
 и невозможно принять наступление ночи
 иначе, чем глотком кальва или скотча,
 чтобы понять: тьма над мансардами, ввысь не
 уходящая — есть продолжение жизни.



Лия ВЛАДИМИРОВА

ПЕРЕХОДЫ ЛЕТЯЩИХ МГНОВЕНИЙ

* * *

Дайте руку мне, друг,
Дайте руку на радость и горе.
Хоть безлюдно вокруг,
В этом, право, не вижу беды.
В час последней звезды,
В легкой тьме я предчувствую море,
В час последней звезды
Позабудем дневные труды.

Мы сегодня вдвоем
На морском берегу молчаливы.
Чтобы выразить жизнь,
Слишком беден житейский язык.
Сберегите во мне
Вдохновение, радость порыва,
И верните мне грусть,
От которой мой разум отвык.

ПЕРЕХОДЫ ЛЕТЯЩИХ МГНОВЕНИЙ

109

Тут светлее, чем днем,
Столько воздуха, цвета и света.
Вот он, прочный мой дом —
Только волны и небо кругом.
Мы сегодня вдвоем
На земле, нашей грустью согретой,
И глоток за глотком
Этот воздух торжественный пьем.

Солнце брызнет из туч.
Переходы летящих мгновений:
Утра трепетный луч
И седая моя голова.
Я сегодня права
Встрепенувшимся вдруг оживленьем
И смиряю в себе
Подступившие к сердцу слова.

Пусть играет волна,
Пусть блистает рассвет за рассветом,
Пусть мы будем вдвоем
На песчаном пустом берегу.
Жду в туманные дни
Благодатного странного лета
И не смею сказать,
Как я память о нем берегу.

Дайте руку мне, друг.
Ничего, что рассвет убывает,
Что трезвеющий день
Слишком властно вступает в права.
Нам улыбка дана,
А она чудеса открывает:
Снова блещет волна,
Снова солнцем полна голова.

15 декабря 1981 г.

* * *

Что ж ты смотришь на меня
В молчаливой укори́зне?
Дай мне чуточку огня
От огромной бедной жизни.

На колени опущусь,
Протяну к огню ладони,
Жарче, пуще разгущусь,
Все светлей, все беззаконней.

И пронзит меня, пронзит
Тайный зов тысячелетий.
Нам ли замороз грозит
На прекрасном, диком свете?

9 июня 1983 г.

* * *

И пахнет южный март, как прежде,
Дождями, медом и вином.
В зелено-дымчатой одежде
Деревья зябнут под окном.

Мой взгляд рассеян, шаг неловок.
Брожу, как в царстве снов цветных,
Средь жарких маковых головок
И косогоров травяных.

Мне душно, зябко. Что со мною?
Я коченею, я горю,
И в мир, в его лицо степное,
Как бы сквозь радугу смотрю.

Цветы на солнце лиловеют,
Иссиня-розовы, черны,

И венчики морозом веют,
Цветным огнем обожжены.

Пьянит и тянет даль цветная.
Дрожит, звенит во мне весна —
Натянутая и шальная
Отзывчивая тишина.

4 мая 1983 г.

* * *

Примолкли строчки, и тетради,
И наш неспешный разговор.
Давай продолжим, правды ради,
Судьбы с судьбою давний спор.

Одна судьба глядит в сегодня,
Вторая — памятью томит,
Но этим утром новогодним
Их зов — един, их образ — слит.

А может, позабыв о юге,
И с чувством права и вины,
Мы затеряемся друг в друге
Средь небывалой белизны?

Апрель 1983 г.

* * *

Вдоволь стылого досуга,
В сердце, в небе — все темно.
Хочешь, выпьем друг за друга
Это зимнее вино?

Дай согреться разговором,
Безутешным и хмельным,
Чтоб повеяло простором,
Неприкаянно-родным,

Чтобы взгляд на друга кинуть,
 Растревоженно маня,
 Чтобы вдруг на миг раздвинуть
 Рамки жизни, стены дня,

Чтобы скрытому порыву
 Я поверила сполна,
 Чтобы душу, душу живу
 Не смирила седина,

Чтобы крепнущая сила
 Догорающего дня
 Подхватила, осветила,
 Опьянила бы меня!

Апрель 1983 г.

* * *

Январских красок переходы
 Вернулись, вспыхнули на днях.
 Вдруг приоткрылась мне природа
 В цветах, расцветших на камнях.

От венчиков морозцем тянет,
 И так в глазах белым-бело,
 Как будто — снег, как будто манит
 Назад, в домашнее тепло.

Я покидаю цикламены,
 А белое нейдет с ума.
 Какие в сердце перемены!
 Какая в памяти зима!

Как много света и печали,
 Как зябко в нескольких платках!
 Блестят заснеженные дали,
 И слезы мерзнут на щеках.

19 января 1982 г.

* * *

Зреют вымыслы живые,
 Разогретые вином:
 Блещут дали снеговые,
 Птицы свищут под окном.

Терпкий воздух дышит мартом,
 Мартом даль напоена,
 Жарким мартовским азартом
 Старость скудная пьяна.

Принимай меня, раздолье,
 И мороз, и солнцепек.
 Ранит радостью и болью
 Разгулявшийся денек.

Пей, куда свет играет
 С хрупкой тенью наугад,
 И куда замирает
 Оробело-дерзкий взгляд.

Зреют вымыслы живые,
 Птицы свищут под окном.
 Дали, дали снеговые,
 Разогретые вином!

Марта синие разливы
 В небе, в лужах, на снегах,
 И напор, почти счастливый,
 В неуверенных шагах.

17 апреля 1983 г.

* * *

Из камня тяжкого стремится,
 На волю просится душа,

А я под тяжестью страницы
Клонюсь, одышливо дыша.

И все труднее год от года
Мне высечь толику огня,
И мнится — мертвая природа
Одушевленное меня.

И вдруг — на сердце больно, дивно:
Пушится дерево в окне,
Напоминая мне наивно
О хрупкой свереной весне.

Все серо, зелено, сквозисто,
И будто бы издалека,
Звенит прерывисто и чисто
Еще не слышная строка.

Апрель 1983 г.

Григорий СВИРСКИЙ ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки
высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104



Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

МЫСЛИ О ПОЛЬЗЕ МОНАРХИИ

*Немного о страшном прошлом, сумбурном настоящем
и затемненном будущем России*

СИМПТОМЫ КРИЗИСА

Можно привести много симптомов глубокого заболевания советского общества. Это прежде всего опустошение душ, цинизм как массовое явление. Коммунистическая идеология уже вызывает больше равнодушие, чем презрение. С этим соседствует принявший невиданный размах алкоголизм (по новой теории исторического материализма между социализмом и коммунизмом появилась новая стадия — алкоголизм). коррупция снизу доверху и т.д.

В механизме политической власти симптомы кризиса видны в геронтократии, отсутствии преемственности поколений в руководстве страны.

Сложилось такое острое положение, когда большинство руководителей — люди старческого возраста. Если бы в руководстве было немного старых, немного — среднего возраста и немного молодых, тогда, естественно, был бы процесс передачи власти, а когда власть в руках старых да к тому же больных лидеров, то больше шансов на рывок, на взрыв.

Кризис в экономике выражается не только в трудностях со снабжением населения потребительскими товарами. Впервые за 50 лет после индустриализации — за исключением периода войны — в СССР упало в абсолютном выражении производство ведущего базисного продукта — стали.

В 1978 г. было выплавлено	151 млн. тонн
в 1979 г.	— 149 млн. тонн
в 1980 г.	— 148 млн. тонн.

Это более страшный симптом, чем недопроизводство сельскохозяйственных продуктов — к этому СССР привык. И это всегда оправдывалось монотонным ростом средств производства.

Симптомом глубокого заболевания общества является демографический спад. Он связан прежде всего с деградацией населения. Происходит падение прироста населения также за счет роста смертности, и детской смертности в особенности. Последняя не есть результат временных трудностей, связанных с созданием благоприятных условий для деторождения. Это результат общей деградации поколения новорожденных. Детская смертность находится лишь на краю этого спектра вырождения: одновременно значительно возросла численность умственно-отсталых детей. Такие демографические тенденции в свою очередь связаны с растущим алкоголизмом, увеличением загрязнения среды (включая отсутствие соответствующей техники безопасности на предприятиях), предотвращение которого требует значительных капитальных вложений.

Уже приведенного списка симптомов достаточно, чтобы заявить о глубоком кризисе советского общества.

СТРАХ ПЕРЕД МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Я думаю, что после октября 1917 года в оценке Ленина как лидера революции следует различать два периода.

До 19-20 года он, по-видимому, считал, что прорыв цепи капитализма в слабом месте — это удача, но удача временная. Без победы социализма в основных промышленно раз-

витых странах нельзя и думать о выживании СССР. Но два-три года успешного правления и победа в гражданской войне, а также ощущение себя лидером первой в мире социалистической страны, вероятно, привели его к мысли об опасности для него революции в развитых странах. В этом случае он потерял бы свою роль вождя мирового коммунистического движения.

Сейчас, в эмиграции, очень интересно перечитывать произведения Ленина не так, как это делалось в студенческие годы, когда мы с отвращением зубрили всю эту догматику. Интересно свежим взглядом взглянуть на эти произведения, понять, чего же хотел их автор. Посмотрим, что представляет в этом смысле "Детская болезнь левизны в коммунизме".

Уже на первой странице Ленин пишет, что опыт русской революции имеет международное значение. Неверно думать, что это специфический опыт революции в отсталой стране. Затем следует такого рода заявление: "После победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом: Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в "советском" и в социалистическом смысле) страной". Далее Ленин призывает: Коммунистические партии, не делайте никаких революций в своих странах! Сотрудничайте с профсоюзами, научитесь соответствующим образом вести себя в парламентах — иными словами, он призывает их как можно дальше держаться от прямой революционной деятельности. Не менее примечательно, из каких людей Ленин сформировал III Интернационал. Он был сформирован так, чтобы было признано величие России и ее руководящая роль.

И вот этот-то страх потерять власть в случае победы революции в других странах в огромной степени предопределил последующую сталинскую политику, нареченную затем "победой социализма в одной стране". В этом смысле Сталин действительно был верным учеником Ленина и продолжателем его дела — дела, которое называлось "коммунизм под руководством СССР".

Отсюда и вся последующая политика Коминтерна — "все,

что хорошо для СССР, — хорошо для мирового коммунистического движения".

Сталин продолжил дело Ленина по расширению империи. Его успехи в этом деле известны.

Послесталинское руководство продолжало традицию расширения русской империи. Но если Ленин и Сталин, по-видимому, хотели ускоренными темпами продолжать русскую традицию и добиться, чтобы Россия правила всем миром (Сталин, возможно, был даже готов развязать новую мировую войну), то их наследники скорее приближаются к традиционной русской внешней политике.

Вместе с тем послесталинская политика экспансионизма приобрела новые черты. Прежде Россия всегда расширялась за счет стран, граничащих с ней. Сталин присоединял те земли, которые он мог контролировать. Он шел на победу коммунистических партий только в сопредельных странах, куда он мог ввести войска. Поэтому, видимо, в свое время и была предана Испания.

Хрущев был первым правителем, который вывел Россию на заморские территории: Россия обосновалась на Кубе, в Индонезии и Египте. Это стало реальным, по-видимому, потому что, с одной стороны, у России появились возможности создавать базы вдалеке от своих границ (выросший флот, ракетное стратегическое оружие и т.п.), а с другой — вместо множества сильных держав, разделивших между собой колонии, появилась лишь одна, впервые во весь рост вышедшая на мировую арену страна — США, — действующая в мире ослабших демократических стран и националистически настроенных бывших колоний.

СТАЛИНСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

Экспансионистской политике России-СССР подчинялись в целом все стороны жизни страны.

Сталинизм как идеология представляет собой комбинацию марксизма и старой русской идеологии: веры в царя, отечество и православие.

Довольно широко распространено убеждение, что Сталин создал эту идеологию после того, как наступил перелом в войне или даже после войны. Указывают, например, на его кремлевскую речь после победы. Думаю, что это заблуждение. Сталин приступил к проведению "русской идеи" в жизнь еще в 1924 г., когда он, используя, в частности, антисемитские приемы, добивался устранения левого крыла партии, то есть сторонников "перманентной революции". Однако в 20-е годы "русская идея" была еще скрыта. Но в начале 30-х годов она уже всплывает на поверхность. Первый известный мне документ по этому поводу — письмо 34-го года "О некоторых ошибках в освещении истории СССР", подписанное Сталиным, Кировым и Ждановым. В чем заключался его смысл? Вспомним, что доминирующей в то время была марксистская историческая школа Покровского, с ее лозунгом "История России без царей". "Цари — ничто, народ творит историю", — таково было кредо Покровского. Подобный взгляд Сталина не устраивал. Необходимо было возродить идею царя, к чему и приступил Сталин. Отсюда возвеличивание Александра Невского, превознесение до небес Ивана Грозного, Петра Первого.

Любопытно, каких историков Сталин призывает в это время — Тарле, Бахрушина, Грекова, Тихомирова, то есть ученых, которые не были ни марксистами, ни членами партии. Они были поставлены во главе советской исторической науки, чтобы обосновать возврат к старой русской идеологии.

Родственники Косарева (комсомольского вождя, погибшего во время ежовщины) говорили мне, как он, вернувшись однажды домой после беседы со Сталиным, — дело происходило в 34-ом году, — рассказывал, что Сталин совершенно откровенно высказывался в том смысле, что нужно поднимать его имя ради интересов народа, а не в его личных, ради социализма.

Иначе говоря, мы видим, что происходило возрождение первого пункта "триптиха" русской идеологии — идеи царя.

Второе, что происходит в этот период, — возрождение веры в отечество, то есть второго кита русской идеологии.

Это широко известно и вряд ли необходимы особые примеры.

И третье — религия. Авторитетные историки мне говорили о наличии документа, датируемого серединой 30-х годов, об изменении отношения к церкви и священникам. Затем разгон общества "Безбожник", закрытие журнала "Безбожник". Внешние признаки этого поворота стали заметны после начала войны, в 42-м году, когда Сталин принимает патриарха, дает разрешение на открытие семинарии, хотя в то же самое время продолжается пропаганда антирелигиозной марксистской идеологии.

Может быть, все это способно объяснить, почему в период великих чисток, устроенных Сталиным, была все же избирательность в уничтожении различных групп населения. Почему выжили такие талантливые писатели, как Пастернак, Платонов, Булгаков, Ахматова, Зощенко. Все они умерли "в своих постелях". Не потому ли, что в период тогдашнего взлета коммунистической идеологии Сталину были страшны еретики, а не атеисты. Эти писатели были именно такими атеистами, то есть они не принимали в целом советскую идеологию. Все они были русскими людьми — немаловажное обстоятельство — и им можно было "доверять", то есть руководители понимали, что эти писатели не любят советскую власть, но ничего "плохого" делать не будут. Куда страшнее были еретики, такие люди, как Бабель. Он в чем-то верил в идею, но не соглашался с тем, как она осуществляется, и хотел докопаться до истоков — почему все не так. Да к тому же он был инородец.

По-видимому обратная картина наблюдается в период упадка идеологии, когда менее страшны еретики и более страшны атеисты. Поэтому будут до поры до времени терпеть Роя Медведева, а с диссидентами более антисоветского толка (как левыми, так и правыми) будут расправляться.

Таким образом, Сталин создал идеологию-коктейль, "гремучую смесь", в которой, с одной стороны, "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "У трудящихся нет отечества", "Религия — опиум для народа", а с другой — чуть ли не "За веру, царя и отечество!"

СОВЕТСКОЕ ДВОЕМЫСЛИЕ

Каким же образом можно было исповедовать две взаимоисключающие друг друга идеологии? Не есть ли это описанное Орвеллом "двоемыслие"?

Да, это двоемыслие. Это феномен, который можно назвать "разорванным мышлением". Дело в том, что здравый смысл устроен таким образом, что люди могут воспринимать два противоположных утверждения — здравому смыслу присуща разорванность. Если "здравый смысл" не обучать, не подсказывать ему, он может явления и события рассматривать изолированно. Поясню это на примере. В СССР создана такая модель Ленина: Ленин — скромнейший из скромнейших, он отказывался принимать продовольственные посылки, отдавал последний кусок голодным детям, жил скромно, одевался скромно. И в то же время советское правительство открывает музей Ленина в Горках — бывший загородный дворец московского градоначальника, и там, среди прочего, сообщается, что Ленин приезжал в Горки на охоту. Как же скромнейший из скромнейших может иметь дворец, где он останавливается для охоты? Какое это может создать представление о нем в народе? Кто ездит на охоту в голодные годы и останавливается в подобных дворцах-усадебках? Тем не менее люди принимают обе версии о Ленине как неопровержимые.

Тот же феномен двоемыслия срабатывал и в более общем плане: обе противоречащие друг другу идеологические стороны сталинизма — марксизм и русский национализм — "покупались" массами.

Однако по мере того как система развивалась, ее коммунистический элемент все больше отодвигался в сторону. Чтобы лучше понять это утверждение, нужно различать в коммунистической идеологии две части: цель и средства. Под целью я понимаю построение коммунизма. Коммунистические лозунги все чаще становятся предметом насмешек, а Хрущев своими обещаниями построить коммунизм за 20 лет, по-видимому, окончательно добил в СССР коммунистическую

идею. Недаром самый короткий советский анекдот состоит всего из одного слова, и это слово — "коммунизм". Эта идеология обветшала, сошла на нет, у нее нет будущего.

Под средствами я понимаю планирование и практическое функционирование системы. Эта ее сторона созвучна русским надеждам, и многие в нее верят. Поэтому, высмеивая идеалы системы, многие сохраняют иллюзию, что сама система действительна и что ее можно существенно улучшить. Но означает ли это, что цель коммунистической идеологии может быть полностью игнорирована? Нет, коммунистические вожди продолжают ею спекулировать, хотя с таким же успехом они могут спекулировать и антикоммунистической идеологией, если это нужно во имя государственных интересов. Я вспоминаю, например, разговор с одним старым коммунистом в конце 50-х годов, когда Хрущев пригласил в Москву Насера. Возмущению его не было предела: как можно было такого человека приглашать в Москву, ставить на мавзолей да еще давать ему золотую звезду Героя, когда он уничтожил у себя коммунистическую партию? Но Хрущев-то уже хорошо понимал, что помимо идеологических соображений существуют интересы империи — и это главное.

Таким образом, расширяя империю, советские лидеры пользуются любыми лозунгами. Это могут быть марксистские лозунги, если им нужно привлечь на свою сторону диктаторские режимы промарксистского толка, а могут быть и антимарксистские — это для них не слишком важно. Важно для них только то, чтобы страна была готова установить у себя авторитарный режим и находилась бы в сфере их господства.

Но вернемся к эволюции сталинской идеологии. По мере того как роль коммунистической ее части уменьшалась, другая ее часть — "русская идея" — крепла, все больше набирала силу и ей-то может принадлежать будущее.

Однако так ли уж опасен национализм? Ведь опыт многих стран во второй половине XX века связан с возрождением национальной идеи. Взять хотя бы Израиль. Я сторонник сохранения многообразия национальностей в мире и понимаю,

что для этого, по-видимому, надо сохранять страны. Таким образом, национальная идея неплоха, но с условием отделения национализма от шовинизма (кстати, возвращаясь назад, вспомним, что если поначалу Сталин пропагандировал русскую национальную идею, то в конце жизни он стал оголтелым русским шовинистом). Опасность национализма заключается в том, что он способен перерасти в шовинизм. Это тем более опасно в большой стране, чья военная мощь угрожает мировой войной. Это тем более возможно, когда страна находится в состоянии кризиса. Ибо при таком состоянии возникает страшная опасность, что не умеренные национальные круги, а фанатичные круги будут обладать необходимым эмоциональным зарядом для того, чтобы руководить страной. Они пойдут на многое, будут готовы на жертвы ради удовлетворения своих интересов и "спасения" страны.

ДВЕ СТОРОНЫ НЭПА

Экспансионистской политике России подчиняется внутренняя жизнь страны. Некоторые правители создавали для этого более жестокую политическую систему, некоторые более гибкую. Гибкость проявлялась как в самой политической жизни, идеологии, так и в их отношении к экономической жизни.

В этой связи, в частности, интересен период нэпа.

Период нэпа окружен некой романтической дымкой. Считается, что одновременно с либерализацией в экономике тогда были ослаблены и идеологические гайки, что существовали различные точки зрения в политической жизни. Между тем нэп был осуществлен в период, когда параллельно с экономической либерализацией происходило политическое ужесточение. По-видимому, у людей есть некоторые стереотипы, в силу которых они связывают экономическую либерализацию с либерализацией политической. Мне неизвестны случаи, когда политическая либеральная система существовала бы без либеральной экономики. Но обратное в извест-

ной мере возможно — это и опыт франкистской Испании, и опыт Югославии, и опыт Португалии. Это же и опыт "новой экономической политики".

В своем докладе на X съезде партии (1921) Ленин одновременно с либерализацией экономики провозглашает резкое ужесточение политической структуры. Правые партии были разогнаны раньше; происходит разгон левых партий (эсеров, меньшевиков и др.) и более того — ликвидация фракций внутри единственно допустимой коммунистической партии. Нэп — это создание монолитной политической структуры. Развитие этой политической структуры привело к полной атомизации общества, то есть запрещению любых самостоятельно формирующихся организаций.

При нэпе была создана структура, политически во многом определившая то, что произошло потом, то есть появление системы единоличного лидера, в которой отсутствовал контроль за его действиями. Я не хочу сказать, что приход такого лидера был полностью детерминирован, что он был неизбежен. История СССР могла сложиться и по-другому. Но созданная Лениным и его соратниками система предполагает к появлению такого рода единоличного лидера. Более общий вопрос — почему была создана такая система. Произошло это прежде всего потому, что система с самого начала создавалась как теократическая, "религиозная", потому что лидеры знали истину. А раз известна истина, то зачем разрешать другие чужие истины, зачем ставить вопрос о проверке истины — можно лишь проводить инспекции для контроля за тем, как осуществляется директива, то есть бюрократическая ипостась истины.

При нэпе был полностью ликвидирован аппарат для проверки правильности самой директивы. А ведь для такой проверки именно и требуется оппозиция, оппозиция организованная — чтобы она обладала силой, могла бы выработать иное мнение и противопоставить его существующему.

Послесталинская политическая система полностью сохранила базисную структуру, заложенную Лениным и принятую Сталиным. Вместе с тем, послесталинские лидеры заметно

смягчили ее и проявляли больше гибкости. Однако без модификации этой системы нельзя надеяться на длительное развитие страны.

ДЕМОКРАТИЯ ПО-ПОЛТАВСКИ

В спорах о будущем России в качестве альтернативы автократизму обычно фигурирует демократический строй.

Когда говорят о демократии, то ее рассматривают как одномерную, а не многомерную систему, то есть, как правило, путают, по крайней мере, два вопроса: плюралистичность и вопрос о количестве людей, которые должны принять участие в принятии решения.

Вопрос о плюрализме — это прежде всего вопрос о разности и множества различных точек зрения и свободного выбора между ними. Что такое свобода? Часто свободу сводят только к одной стороне — к возможности выбора в настоящем из прошлого. Я думаю, что это очень ограниченное понимание. Свобода, на мой взгляд, также требует, чтобы сегодня создавалось многообразие, из которого можно будет выбирать завтра. Свобода, таким образом, требует двух условий.

Принцип демократического централизма Ленина предполагал только одно из двух: есть многообразие мнений, давайте выбирать, а потом избранному мнению все должны будут подчиняться, то есть говорилось о правах большинства и полностью игнорировалась защита интересов меньшинства — тех, кто будет сегодня разрабатывать новое, из которого мы завтра будем выбирать. Это меньшинство в СССР было задушено.

Мне в этой связи вспоминается подлинная история, рассказанная одним моим знакомым из Полтавы. В жаркий летний день тысячи полтовчан устремились отдохнуть на берегу реки. Добраться до реки можно практически лишь общественным транспортом. Троллейбусы были переполнены.

Водитель троллейбуса на начальной остановке спросил пассажиров: "Большинство едут на пляж?" Услышав в ответ дружное "да", он сказал: "Тогда едем без остановок". Голоса меньшинства, не едущего на пляж, потонули в криках большинства. Так и остался у меня образ "демократии по-полтавски" как символ принципа демократического централизма.

Общий ход развития советской системы был направлен в одну сторону — любыми способами не допустить плюралистичности, ликвидировать в корне условия для возникновения разнообразных точек зрения и возможных ограничений одних другими.

Плюрализм — это не только наличие многих точек зрения, это и их взаимодействие. Поэтому плюрализм предполагает механизм отбора. Иначе говоря, важно, каким образом будет осуществляться замена одной точки зрения другой. При этом защитники одного взгляда, преследуя свой интерес, очень зорко следят за действиями защитников другого взгляда.

Когда отобрана одна точка зрения, остальные наблюдают, как она развивается; и если обнаруживается, что она заводит страну в ложное направление, то готовы другие точки зрения, которые ее корректируют и заменяют. Это и есть плюрализм как динамическая функционирующая система.

Другое дело — сколько людей будет участвовать в этом процессе. Это связано с проблемой демократии.

Демократия направлена на то, чтобы в этот процесс было вовлечено как можно больше людей, а в идеале — все члены общества. Но здесь нельзя забывать об одном важном моменте — компетентности людей и понимании ими важности сохранения плюралистического механизма. Речь идет не просто о компетентности профессионалов, но и компетентности большинства, представляющего значимость плюрализма в жизни общества. Другими словами, речь идет о разделении понятий "демократия" и "охлакратия" (то есть власть черни, власть охламонов).

Тут есть прямая взаимосвязь с западной концепцией личности — я могу быть личностью только при условии, когда и

другого признаю личностью. Я уникален, и ты уникален. В России нет этой традиции. Не случайно, что концепция privacy у русских отсутствует, и слова даже такого в русском языке нет.

Но в России, в русской деревне, есть, как справедливо отметил профессор Ходак, нечто иное — образ правдолюбца. В России не многообразие мнений является символом, а правда, та абсолютная правда, которая где-то существует и которую нужно найти. И это не случайно, а потому что корни другие, уходящие в глубокую российскую традицию — вера в единственную правду.

То же мы видим и в эмигрантской среде — нетерпение, недопонимание того, что должно быть многообразие, много "правд". Я наблюдал этих фанатиков одной "правды". Они так искренне верят в свою правоту и желание людям добра, что несогласных считают порождением дьявола, или, другими словами, агентами КГБ. Эти фанатики одной правды — верующие люди. И отнюдь не циники. Но это-то и страшно — они не понимают своей ограниченности.

При такой традиции мне представляется опасным, когда подобным людям дается право выбирать и быть выбранными. Эти люди могут легко породить тоталитарный режим, диктатуру — потому что они предрасположены отдать власть тому, кто скажет: "Я знаю эту правду, единственную, а всех остальных мы ликвидируем, чтобы они не мешали нам строить идеал."

Не хочу утверждать, что это удел одной лишь России. Мы знаем, что такая же трагедия разыгралась в Германии после первой мировой войны, когда недостаточная политическая культура нации, то есть недостаточное понимание роли плюрализма, привела Гитлера к власти через механизм голосования: за фашистов и коммунистов голосовало более половины населения.

Может быть, и трагедия России заключалась в том, что когда была разрешена не просто многопартийность, но и радикальные партии, она стала добычей экстремистских сил. Можно обвинять марксистов, евреев, внешних врагов — кого

угодно в том, что они принесли несчастье России. Но ведь была гражданская война, и брат шел на брата, у людей был выбор, и люди выбирали тогда эту власть: выбор проходил через гражданскую войну — нельзя об этом забывать.

И если бы в России одновременно разрешили плюрализм и демократию, то это могло бы привести к прямо противоположным результатам — к разрушению плюрализма и к созданию нового вида диктатуры.

Таким образом, при всей кажущейся, на первый взгляд, схоластичности разделения плюрализма и демократии, в этом разделении есть свой смысл. Эти понятия не синонимы. В определенных условиях они конфликтуют друг с другом. Что же России все-таки нужно: демократия или плюрализм, чем она может жертвовать быстрее — плюрализмом или демократией?

Я полагаю, что России нужен прежде всего плюрализм. Именно он создает многообразие мнений, возможность взаимного контроля этих мнений и возможность эффективной замены устаревших точек зрения новыми. Отрицает ли это вообще демократию? Нет. Это поначалу лишь ограниченная, "цензурная" демократия (с ограничениями на возраст, имущественное положение, оседлость и т.п.). По мере того как страна развивается и люди становятся опытнее и компетентнее — развивается и демократия. Такова история Запада. История западной демократии — это именно история цензурной демократии постепенного включения в плюралистическое общество все более широких кругов. Демократия — это процесс, а не состояние; процесс, который происходит в течение длительного времени и созревает долгие годы.

Что же из этого практически следует? Вопрос, по-моему, стоит не так, как он обычно дискутируется: что для России лучше — демократия или авторитарный режим? Я думаю, что Россия может быть поставлена перед вопросом другим: создания элитарного плюралистического общества как промежуточной ступени. А может быть, следует начинать еще с каких-то более ранних стадий, которые уже обладают по-

тенциалом перерастания в такое плюралистическое общество (создание плюралистической элиты). Возможно, существуют переходные формы к ней из нынешнего состояния, особенно в условиях кризиса. Это уже вопрос конкретного политического анализа.

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ

Мне вспоминаются слова Шкловского, что всякое новое не уничтожает старое, а лишь ограничивает сферу его применения. Как он заметил, проза не отменила поэзию, а лишь ограничила ее область. Я думаю, что в политике большой ошибкой является стремление радикалов ликвидировать старые институты вместо того, чтобы уяснить, в чем заключается их роль и попытаться их ограничить.

Сказанное прежде всего относится к институту монархии.

У меня был очень интересный разговор с норвежским математиком Нюгардом, членом социалистической партии Норвегии. Мы обсуждали с ним, помимо прочего, вопрос о монархии. Я его спросил: "Зачем вам нужен король? Это — дворец, большие расходы на содержание, а страна у вас маленькая. Можно было бы иметь президента — и это только офис, милая секретарша и кадиллак для представительства". На это он мне ответил так: "Нет, король нам нужен. Норвежский король напоминает нам об истории страны, о том, как бароны систематически ограничивали власть короля, как опасно поддаваться соблазнам иметь сильного короля, который будет "над". Память о том, что мы не поддались соблазну и ограничили власть короля для нас исключительно важна, и это одна из причин, по которой мы "держим" короля".

Возьмем роль английского короля или королевы. Они — символ страны, национальный институт чрезвычайной важности. Когда королева устраивает прием, и бывший в опале человек появляется на нем, — это и есть социальная реабилитация. Так, кажется, произошло с Профьюмо — он был реабилитирован в глазах общества после приглашения на прием к королеве.

Социальные функции монархии огромны. Когда-то хорошо сказал И.Р.Шафаревич, что очень важно иметь в обществе два института такого типа — один, который нужно хвалить, и другой — который нужно критиковать. Нельзя делать один и тот же институт одновременно объектом и любви и критики — это очень тяжело. Поэтому запрет критики английского короля или королевы — это некий символ того, что объединяет народ. Хотите критиковать — есть парламент, правительство — критикуйте. Но есть что-то непреходящее, ценное, как десять заповедей. Можно менять законы как угодно, но что-то должно быть святое, что должно чтить.

Интересен разговор Томаса Джефферсона с группой французских революционных деятелей накануне революции — 1787 (или 88-м году?), когда он был послом США во Франции. Во время этого разговора он им, в частности, сказал: "Только не уничтожайте короля!" А ведь Джефферсон представлял страну, которая отказалась от создания королевской власти. И сам он был республиканцем чистейших кровей. Но он глубоко понимал важность сохранения в определенных странах старых институтов при ограничении их власти (так это произошло в Англии, Норвегии, Швеции).

Милюков сразу же после Февральской революции заявил, что трагедия России — это ликвидация царя (не конкретного царя, не конкретной династии, а самого института). В стране, где личность монарха играла такую роль, это было опасно. И большевики это мгновенно поняли. Николая Второго быстро заменил Ленин, который эксплуатировал образ "народного царя". Известная картина "Ходоки у Ленина" — самое наглядное тому свидетельство.

Генерал Макартур в послевоенной конституции для Японии сохранил Институт императора.

С этой точки зрения, я должен заметить, что Франко был совершенно необычным человеком. Конечно, неприлично хвалить диктатора, но его политическое провидение достойно комплиментов. Этот деятель, уходя, сумел создать переходный режим и поставил у власти Карлоса. Вместо себя он поставил не другого диктатора, что было бы неостроумно — он

поставил ограниченного в своей власти короля. И мы видим, как это блестяще сработало для развития демократии в Испании.

С другой стороны, если говорить об Иране, то в чем была кардинальная ошибка иранской революции? На мой взгляд, — в том, что она уничтожила институт монархии. Может быть, был плох шах, была плоха династия, но институт нельзя было уничтожить. Как только он был уничтожен, образовавшийся вакуум заполнил Хомейни. А по сравнению с Хомейни шах — архилиберал.

Поэтому в странах, где существуют давние традиции почтения монарха, важно эти традиции чтить и сохранять.

Известно, что в народе Сталина и других советских лидеров воспринимали как царей. Помню, однажды в Москве я стоял на стоянке такси. Ко мне подошла пожилая женщина и стала спрашивать, как проехать в Новодевичий монастырь. "Хочу, — говорит, — поклониться царю Никите. А потом, — говорит, — поеду на Красную площадь и поклонюсь царю Владимиру". Мне рассказывали о подобном же случае в Кировской области, когда крестьянка во время войны называла Сталина "царем Иосифом".

Поэтому, как это ни странно прозвучит, я — сторонник возрождения в России конституционной монархии; последнюю не нужно путать с "монархической конституцией". При конституционной монархии институт монарха лишь один из многих институтов, формирующих плюралистическую политическую структуру страны, то есть наряду с монархом существуют выборный парламент и формируемая им исполнительная власть, независимая судебная власть, множество партий, свободная пресса и т.п. При "монархической конституции" монарх с помощью введенной им конституции создает иллюзию структурно развитой политической системы: фактически он единолично правит страной.

ГИБРИД "ГОСУДАРСТВЕННЫХ" ФОРМАЦИЙ

Экономическая система, созданная Сталиным, представляет собой причудливую смесь различного рода экономических структур. Можно сказать, что каждая страна формирует свою экономическую систему как синтез всевозможных структур, взятых в различных пропорциях. Если использовать марксистскую терминологию, то эти структуры будут соответствовать экономическим формациям. Впрочем, я не знаю, как определить социалистический способ производства: в целом он, по-видимому, является, как некоторые полагают, государственным капитализмом: в отличие от "государственной первобытной общины", "государственного рабства" и "государственного феодализма".

Однако с учетом сказанного, можно считать, что сталинская система имела черты "государственного феодализма", так как с 1940 года были резко ограничены возможности свободного перемещения работников с одного предприятия на другое. Что касается сельского хозяйства, то с созданием колхозов там был введен "государственный феодализм". Колхозы явным образом основаны на такой разновидности феодализма, как барщинная система.

Что касается строительства, то в нем преобладало "государственное рабство" в виде трудовых лагерей. Кажется, Сталин изобрел два новых массовых источника рабства: собственных военнопленных и мнимых преступников, то есть осужденных за мелкие преступления на несообразно большие сроки. (К примеру, мне рассказывала главный инженер одной из швейных фабрик в Москве, что работница этой фабрики в сталинское время была осуждена на 5 лет трудовых лагерей за воровство 200 метров нити: охранники нашли в ее пальто неполную катушку ниток. Аналогичный пример приводил А.Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ".)

Плановая централизованная экономика оказалась неспособной к интенсивному развитию на базе технических достижений. Эта система была пригодна прежде всего для решения экстраординарных задач быстрого создания военного потенциала.

Для научного прогресса нужно плюралистическое политическое общество, сопровождаемое плюрализмом источников финансирования новых изысканий. Эффективное применение научно-технических достижений возможно при наличии независимых людей (или коллективов), готовых брать на себя риск внедрения нового. При наличии монистической идеологии и одного источника финансирования науки трудно ожидать пионерских научных идей.

Мне представляется, что если бы не было надобности в научно-техническом развитии и его реализации через людей (а не ангелов или компьютеров), то современный уровень науки дал бы основание для веры в близкую к идеальному централизованную систему планирования.

Я бы хотел в этой связи заметить, что критика института частной собственности со стороны радикальных групп ведется без учета ее роли в создании плюралистических источников финансирования научно-технического развития. Критики преимущественно обращают внимание — и часто весьма справедливое — на возбуждающее массы неравенство в доходах и богатстве населения, на вредность единоличного принятия решений частным собственником, на слабую координацию хозяйственной активности, на распыленность ресурсов и т.п. Они предлагают ввести общенародную собственность, которая представлена народным государством (либо диктатурой пролетариата). Тогда можно будет лучше координировать активность хозяйственников путем обязательного для них плана; концентрировать ресурсы на ведущих направлениях, контролировать сверху принимаемые хозяйственные решения и т.д.

Но концентрация собственности в руках государства, даже если бы оно частично устранило указанные недостатки, приводит к еще более серьезным трудностям, и прежде всего к удушению плюрализма не только в политике, но и в других сферах социально-экономической жизни.

В общем можно сказать, что частная собственность — не есть достаточное условие для сохранения свободного общества. Можно привести примеры стран, где господствовала частная собственность, но страны эти автократичны (Испания при

Франко). Однако, как отмечал Милтон Фридман, неизвестны примеры свободного общества без частной собственности.

Выше я привел примеры в рамках широко известного противопоставления частной и государственной (общенародной) собственности. Но для развития плюралистических структур достаточно иметь децентрализованную собственность, противопоставляемую централизованной. Понятие децентрализованной собственности шире понятия частной собственности. Децентрализованная собственность может включать разные формы: кооперативную, коммунальную, профсоюзную, частную и т.д.

Итак, критика частной собственности (в смысле собственности отдельных лиц) может вестись с разных точек зрения. Идеальным казалось бы иметь собственность, сконцентрированную в руках государства, но, как уже выше отмечалось, такого рода концентрация душит плюрализм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необходима децентрализация и деконцентрация собственности как условие для плюрализма. Выбор конкретных форм децентрализованной собственности и их пропорций является проблемой, решаемой в каждой стране в соответствии с ее условиями. С этой точки зрения интересен опыт Израиля, где развиты многообразные формы собственности: кибуцная, мошавная, частная, профсоюзная и др. (Мне помнится, что еще Жюль Мок обращал внимание на многообразие форм собственности в Израиле как на важнейшую особенность развития этой страны.)

* * *

Из всего сказанного я пришел к заключению, что глубокая болезнь, поразившая советское общество, есть результат действия системы, которая шестьдесят пять лет истощает ее людей, природные ресурсы и капитал. Кардинальный вопрос, который возникает в связи со сказанным, имеет ли советское общество силы для преодоления болезни или оно патологично. Под патологической понимается структура социальной системы, при которой власть не способна или не

желает, а народ не может устранить препятствия, мешающие его развитию. В этом случае только внешнее радикальное вмешательство может изменить такую патологическую структуру.

Мне кажется, что в стране есть силы, которые могут вывести Россию из затянувшегося кризиса, то есть что советское общество не патологично. Для эволюции СССР в сторону свободного общества может потребоваться много времени. Но важно начать и, по возможности, достижения в этом направлении делать устойчивыми. Альтернатива для нового лидера состоит прежде всего в том, начнет ли он процесс изменения структуры или сохранит ее. Конечно, как всегда есть промежуточные варианты — латать систему. Последнее — очень коварно, так как может создать ложную надежду на исцеление. Латание может быть в одеянии полулиберализма и выглядеть как начало исцеления. Но за латанием может наступить еще большее опустошение душ людских со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Внутренние противоречия", № 7, 1983.



Сергей ЗАМАЩИКОВ

ЗАПОЗДАЛОЕ ОТКРЫТИЕ КИТАЯ

"...из всего соцлагеря порядочные люди, наверное, только в Китае и остались..." (из разговора в электричке).

"Я с трудом сдерживал охватившее меня волнение. Я присутствовал при рождении настоящего коммунистического общества — само понятие "государство" отмирало..." (Ацуеши Нуджима — японский синолог после посещения Китая в 1968 году) .

"И если сегодня найдется иностранец, который, будучи приглашенным на китайский банкет, не побоится критиковать то, что происходит сегодня в Китае, то я назову его порядочным человеком, человеком, достойным восхищения!" (Лу Синь) .

О Китае за рубежом пишут много и читают с интересом. В Америке специальных журналов, посвященных целиком или частично Китаю, выходит не меньше (если не больше), чем журналов советологических. Немало пишут о КНР и в Союзе, причем после разрыва дружеских отношений в середине 60-х

тон статей и книг изменился с огульно-восхваляющего на огульно-очернительский.

Однако в печати эмигрантской материалов о Китае почти нет: за последние четыре-пять лет я припоминаю лишь "Китайский круг России" А.Самохина да статью М.Реймана "Китайские впечатления", опубликованную в десятой книжке "Синтаксиса". Именно это отсутствие китайской темы в нашей русскоязычной прессе и вызвало у меня желание поделиться своими мыслями об этой столь далекой и в то же время в чем-то столь близкой для нас стране.

Надо ли говорить, что ни короткие полгода, отданные изучению китайской политики, ни объем этой статьи не позволяют сколько-нибудь полно и серьезно объяснить происходящее сегодня в этой стране: перед вами — лишь несколько страниц наблюдений, сопоставлений и парадоксов, могущих показаться любопытными и близкими читателю, покинувшему страну, жизнь в которой многим из китайцев может показаться раем земным.

ЧЕТЫРЕ "МОДЕРНИЗАЦИИ"

После смерти Мао в 1976 году его приемники встали перед проблемой: что делать со страной, физический и нравственный потенциал которой был почти полностью разрушен во время "культурной революции". Авторитетом великого кормчего долго прикрываться было невозможно, а свалить все грехи на него они, помня о советском опыте, боялись.

В своей политике Мао в основном следовал ленинско-сталинской модели построения социализма, несмотря на некоторые национальные отличия, а также особенности характера самого председателя. Структурно китайский социализм следовал таким же страшно знакомым для многих из нас путем, но с понятной поправкой на культурную и региональную специфику, что выразилось в конечном итоге в меньшем количестве человеческих жертв.

Однако экономические последствия такого развития оказались (как ни трудно в это поверить) здесь намного более

тяжелыми, чем в Советском Союзе. В течение двадцати лет — с 1957 по 1977 год — потребление продуктов питания на душу населения практически не росло (это при том, что средний китаец потребляет процентов на тридцать меньше калорий, чем житель СССР). Национальный доход на душу населения не превышал 300 долларов в год, оставаясь на уровне беднейших стран мира. А перспективы улучшения ситуации тоже были довольно сомнительны, учитывая катастрофическую демографическую ситуацию, когда ежегодно 20 миллионов молодых людей присоединяются к и без того переполненному рынку рабочей силы.

Положение с высшим образованием оказалось еще более сложным: только пять процентов выпускников средних школ могут рассчитывать на прием в вузы. С ними за места в институтах соревнуются молодые люди, окончившие школу в годы культурной революции и затем, "по зову партии" в добровольно-принудительном порядке направленные на работу в деревню. Большинству из них теперь разрешено вернуться обратно, однако для многих из них это возвращение не будет радостным: их рабочие места заняты, при поступлении в институт им разрешается сделать лишь одну попытку (что очень непросто после длительного перерыва), да и жить зачастую им негде — в Китае квартиры не бронируют...

Многие из этих "комсомольцев-добровольцев" вместе с бывшими хунвейбинами пополнили ряды китайских безработных, которых в Китае принято называть "ожидающими работы". Здесь все чаще начинают говорить о "потерянном поколении" сегодняшних тридцатилетних, которые двадцатилетними задорно включились в идиотский балаган "культурной революции", а она изломала их жизнь, выбросив, когда они стали ненужными, на свалку. Совсем похоже на то, чем их стращали в газетах, писавших о "загнивающем Западе" (разница лишь в том, что на Западе пособие по безработице выше зарплаты китайского министра). Надо ли говорить, что такая ситуация привела к растущему цинизму и разочарованию среди молодежи, нашедших свое выражение в постоянно растущем количестве самоубийств.

Те, кто встали у руля после Мао, понимали, что без серьезных реформ не обойтись (в особенности Дэн Сяопин, который начал тогда свой новый "путь наверх"). В 1977 году принимается постановление о "четырёх модернизациях",* которые должны были произойти в промышленности, сельском хозяйстве, науке, технике и армии, причем именно в такой последовательности. К этому следует добавить попытку Дэн Сяопина распространить реформу на закостеневшую китайскую бюрократию, которая, по мнению большинства очевидцев, может заткнуть за пояс даже бюрократию советскую.

В промышленности, согласно планам Дэна, валовой национальный продукт должен будет к 2000-му году возрасти в четыре раза. Но для этого необходимо, чтобы он ежегодно увеличивался примерно на 7,5%. Сама по себе цифра эта вполне реальна, и многие слаборазвитые страны Азии добивались таких темпов в 70-е годы, а Китай, несмотря на то что он запускает спутники, во многих отношениях остается слаборазвитой страной. Так вот, сможет ли Китай сделать то, что сделали некоторые его соседи десять лет назад? Большинство экономистов расценивают его шансы в лучшем случае, как "фифти-фифти". Дело в том, что в 70-х годах на внешних рынках была куда более благоприятная ситуация. Сегодня, хотя китайцы и пытаются завоевать эти рынки, создается впечатление, что "их поезд уже ушел". Примером этому может служить резко отрицательная реакция Америки, вызванная лишь четырехпроцентным увеличением продажи китайского текстиля.

Но есть и другая, куда более важная, причина трудностей, на которые постоянно натываются реформы в Китае. Это — невероятная инерция и апатия подавля-

* Китайцы испытывают удивительное пристрастие к нумерации и подпунктам: почти каждое постановление, закон или официальная кампания содержат в своем заголовке какой-то номер, каждый параграф, будь то постановление или передовица, содержит в себе еще три-четыре подпункта — и так до бесконечности.

ющего большинства населения, уставшего до смерти от бесконечных экспериментов маоистской поры и давно потерявшее веру в какие бы то ни было инновации со стороны новых лидеров. Даже попытки Дэн Сяопина ввести элементы рыночной системы, конкуренции и оплаты по труду (которые были направлены в конечном счете на повышение жизненного уровня тех же рабочих) не вызывали с их стороны никакого энтузиазма, а чаще всего — наоборот.

Против оплаты не за выполнение общей для всех нормы, а индивидуально "сколько сделал — столько и получил" выступили и профсоюзы, опасавшиеся, что это вызовет повышение норм. Когда же в 1978 году китайские "менеджеры" открыли для себя (наверное, перечитывая Ленина) знаменитую "потогонную" систему Тэйлора, предусматривающую разделение процесса на элементарные функции и строгий хронометраж всех операций, то они столкнулись с невиданным доселе саботажем со стороны рабочих. Все попытки ввести НОТ и "научно обоснованные нормы" путем хронометража и различных тестов "сговорившиеся" рабочие сорвали, работая таким образом, что время на выполнение проверяемой операции у всех было одинаковым.

Дэн Сяопин и его "экономический гений" — реабилитированный профессор Пекинского университета Шу Мучао — предложили также радикальные реформы в области управления экономикой и менеджмента, включающие децентрализацию, увеличение роли прибыли и даже введение (правда, очень осторожное) рыночных принципов регулирования. Реформы эти вызвали резкое недовольство среди руководителей низшего и среднего звена, которые привыкли к ситуации, когда за них думали и решали наверху. Да и у рабочих не вызвала особого восторга новая кампания за повышение эффективности. Ведь в экономике, искалеченной социализмом, это будет означать увольнение непроизводительного да и просто излишнего персонала, а безработица в миллиардном

Китае даже по официальным данным составляет более четырех процентов.*

Однако наибольшую оппозицию Дэн и его группировка встретили, когда они решили посягнуть на святая святых — на функции парткомов в управлении производством. Дело в том, что в Китае роль партийных организаций на предприятиях зашла так далеко, что они фактически приняли на себя директорские функции, а настоящие директора превратились в простых исполнителей их директив.

И вот начиная с 80-го года по указанию, идущему от самого Дэн Сяопина, в печати началась кампания за вывод парткомов за пределы фабрик и переход на общественные начала — кампания, кажущаяся невероятной в тоталитарной стране, и поэтому получившая широкое освещение в западной печати. Но движению этому, которое уже успело заслужить в "Правде" имя ревизионизма, не суждено было продолжаться долго. Как ни странно, конец ему положили примерно те же самые требования (только пришедшие не "сверху", а "снизу"), которые выдвинула возникшая в это же время в Польше "Солидарность". Обеспокоенная партийная верхушка в Китае поняла, что уход партии с заводов будет означать потерю контроля над теми, кого долгое время считали в стране "авангардом" — и разговоры об "общественных началах" быстро прекратились. (Правда, об этом большинство западных газет уже не упомянуло, да и зачем бы, ведь ничего сенсационного в этом не было, все вновь возвращалось на круги своя.)

Справедливости ради надо отметить, что реформы Дэна и прежде всего отмена бесконечных митингов периода "культурной революции" и робкие попытки ввести материальную

* Примерно два года назад китайское правительство официально признало наличие более 20 миллионов безработных, в действительности же эта цифра намного выше, ибо только в Пекине, по свидетельству одного из иностранных дипломатов, насчитывается свыше миллиона молодых людей — выпускников средних школ и убежавших из коммун, — не имеющих постоянной работы. Отсюда рост преступности, появление уличных банд и т.д.

заинтересованность, принесли некоторое повышение уровня жизни рабочих. Это особенно заметно еще и потому, что с 1956 по 1976 год зарплата работающим в промышленности не повышалась. По данным одного из моих коллег-аспирантов, прошедшего прошлый год в Китае, заработки на заводах там следующие:

Директор завода	150 юаней (1 юань равен примерно 60-ти копейкам)
Главный инженер	150 юаней
Квалифицированный рабочий высшего разряда	110 юаней
Выпускник института	70 юаней
Неквалифицированный рабочий	30-40 юаней

Надо ли говорить, что помимо зарплаты директор получает все прочие привилегии, как и его коллеги по ту сторону Амура.

Сельскохозяйственная реформа началась в Китае гораздо более успешно. Это нетрудно понять, учитывая урон, нанесенный 800-миллионному крестьянству "культурной революцией". По данным, опубликованным в 1977 году, 250 миллионов китайцев постоянно находились на грани истощения. Перспектив на улучшение также не предвиделось, так как даже традиционное хрущевское решение об освоении "целинных земель" здесь не представлялось возможным — ведь в Китае лишь 15 процентов земли пригодно для земледелия.

Надо отдать должное прагматизму Дэна, который в этой ситуации решил пойти на риск, предложить так называемую "систему личной ответственности". А означало это полную отмену правительственного контроля над тем, как крестьяне выполняют назначенные им планы поставок. Планы эти были намеренно занижены и все, что производилось сверх, могло быть реализовано на рынке, который, естественно, расцвел невиданными темпами. Кроме этого, крестьянам разрешился выход из кооператива и давалась в аренду зем-

ля, разрешалась покупка трактора и машины в рассрочку и у них было право выращивать на своей земле (размер которой не ограничивался) все, что они сочтут нужным. Более того, в печати началась кампания пропаганды и восхваления тех крестьян, которые, пользуясь благами "системы личной ответственности", смогли заработать приличные деньги. Газеты стали публиковать истории о семьях, коллективно приобретающих трактора, организующих что-то вроде частных МТС и зарабатывающих на этом неплохие деньги. Очевидцы рассказывали мне, что некоторые китайцы с помощью американских и гонконгских родственников умудрились пооткрывать "свечные заводи" и скоро, наверное, станут миллионерами.

Однако не секрет, что любая реформа в коммунистическом государстве имеет свои пределы. Как и следовало ожидать, очень скоро в Китае стали раздаваться голоса, протестующие против "капитализации" сельского хозяйства. Голоса эти, конечно же, принадлежали "ветеранам партии", а также партийным деятелям из сельскохозяйственных районов, которые чувствовали, что с ростом независимости крестьян их авторитет катастрофически падает.

Как типичный пример "буржуазного влияния" приводилась история с одним из известных сельских селекционеров, который вывел высокоурожайный сорт яблок. После того как коммуна, к которой он принадлежал, отказалась платить ему за использование его метода, он предложил услуги соседям, а те отвалили ему за это изрядный куш. Соседи, однако, не просчитались, так как стали получать высокие прибыли от продажи нового сорта яблок. Тогда бывшая коммуна решила предъявить права на своего селекционера и потребовала его возвращения, призвав на помощь местный партийный комитет. Только после вмешательства ЦК дело удалось разрешить в пользу селекционера. История эта получила огласку, и может служить хорошей иллюстрацией того, какой колоссальный контроль коммуна все еще имеет над своими членами.

Заканчивая разговор о сельском хозяйстве, хочу заметить, что, несмотря на очевидный прогресс, карточная система

на большинство основных продуктов сохраняется. Правда, есть и рынок, но там немыслимые цены.

Реформы в области науки и техники начались с двух радикальных шагов: почти 50 тысяч студентов были направлены учиться и овладевать современной технологией на Запад (и это несмотря на вечный партийный страх перед возможным их бегством). Другой шаг — это экстенсивные закупки импортного оборудования и технологии и заключение контрактов на постройку предприятий с западными фирмами. Однако если первое полностью оправдало себя, то закупка технологии оказалась нерентабельной.

Неэффективная социалистическая экономика с ее традиционной боязнью новшеств (да еще и такое знакомое нам безалаберное отношение к дорогому импортному оборудованию) быстро привели Дэна и его советников к выводу, что лишь закупками новой технологии да еще и при ограниченных средствах китайскую экономику не поднять. К тому же введение автоматизации и повышение эффективности опять же повело к увольнению излишней рабочей силы, что, конечно, в любой соцстране является немыслимым: уж лучше приставим бабушку с вязанием к каждому японскому станку-автомату.

Здесь мне хотелось бы сделать маленькое отступление по поводу общей болезни всех социалистических экономик, и Китай — этому еще одно подтверждение. Я имею в виду постоянное стремление ограничить инициативу наиболее талантливых людей, воспрепятствовать их стремлению получить адекватную прибыль в соответствии с затраченными ими усилиями. Отсюда — всеобщее безразличие, разгильдяйство, воровство и бесхозяйственность.

Сейчас уже у большинства трезвомыслящих экономистов не вызывает сомнения то, что социалистический принцип хозяйствования — главное препятствие на пути роста производительности труда и любой человеческой инициативы.

Поэтому не может не вызвать удивления, когда Михаил Рейман в своей статье о Китае (в десятой книжке "Синтаксиса") черным по белому пишет, что хотя "коммунизм, ко-

нечно, не является воплощением добродетелей человечества, но его гнилость и отталкивающая застойность на его родине, в СССР, а также в странах советского блока, не может служить обязательным аргументом против его положительных возможностей в иной среде и в иной обстановке" (с.62). Где именно М.Рейман собирается найти такую "среду и обстановку", возможно, станет ясно разве что после построения коммунизма на других планетах.

И наконец, о реформах в армии. Хочу сразу же подчеркнуть, что советский миф о "китайской угрозе" является не более обоснованным, чем миф об угрозе японской, например. И лучше всего это понимают сами китайцы. Их программа модернизации, рассчитанная на 20 лет, продвигается довольно медленно, и лишь к 2000 году должна вывести народно-революционную армию в число "наиболее современных и могущественных армий мира", но до этого еще "дистанция огромного размера".

Чтобы по-настоящему модернизировать вооруженные силы, Китаю прежде всего необходимо решить свою главную проблему — подготовить достаточное количество квалифицированного технического персонала, который был бы способен управлять техникой, составляющей основную мощь любой армии конца XX века. Иными словами, чтобы выдвинуться в число военных сверхдержав и встать в один ряд с СССР и США, Китай должен сравняться с ними в области военной индустрии, подготовки персонала, исследований, капиталовложений и т.д. По всем прогнозам это вряд ли наступит раньше, чем лет через пятьдесят. Пока же экономические проблемы заставляли КНР на протяжении ряда последних лет снижать капиталовложения на оборону. Что же касается угроз, то у Китая есть гораздо больше оснований бояться вооруженной до зубов советской армии, сосредоточенной вдоль его границы. Да и вьетнамцы, армия которых по своей подготовке уступает разве что израильской, надо думать, доставляют немало беспокойства китайскому генеральному штабу.

КТО МЫ ТАКИЕ, ЧТОБЫ ИХ КРИТИКОВАТЬ

В одной статье трудно даже перечислить основные проблемы, стоящие перед этой огромной страной, а информация о ней становится все более обширной, особенно за последние годы, когда китайцы сняли многие ограничения на путешествия иностранцев.

Кстати небезынтересно проследить, как изменялось отношение Запада к Китаю после революции 1949 года. Тут можно выделить три основных этапа; первый — с 49-го года до середины 60-х — был периодом полной изоляции. Все иностранцы были высланы из Китая, большинство стран не имело с ним даже дипломатических отношений.

Начиная с середины 60-х годов первые иностранцы начинают приезжать в Китай, а так как большинство из них были людьми левых убеждений, то нетрудно догадаться, что картина, которую они рисовали по возвращении, во многом совпадала с тем, что "прогрессивные" иностранцы рассказывали о сталинской России. Как выразился один из таких "прогрессивных" общественных деятелей, "я видел коммунизм в действии, и это было прекрасно!"

Подобная ситуация продолжалась примерно до середины 70-х годов. Ничто не могло раскрыть глаза благонамеренным западным либералам: ни массовые высылки людей, ни закрытие университетов, ни массовые расстрелы на стадионах. Как написал в своей великолепной книге "Политические пилигримы" Поль Халландер, мировоззрение этих людей в лучшем случае определялось принципом: "Кто мы такие, чтобы их критиковать!"

Перелом в отношении Запада к коммунистическому Китаю ознаменовала публикация бельгийским ученым и журналистом Симоном Лейсом книги "Китайские тени". Это совпало со смертью Мао и развернувшейся кампанией против "банды четырех".

Проживший много лет в Китае, Лейс с блеском обрисовал всю систему построения местными властями "потемкинских деревень" и одурачивания доверчивых иностранцев. Чего сто-

ит, например, приведенная им история с американским психиатром, который, вернувшись из Китая, заявил своим ошеломленным студентам в Стэнфорде, что добрые половые связи и изнасилования отсутствуют в Китае, поскольку молодые китайцы "направляют свою молодую энергию на службу нации"...

Сейчас отношение подавляющего большинства исследователей и обозревателей к Китаю круто изменилось — в оценках преобладает разочарование и здоровый скептицизм. Но утверждать, что "академическая слепота" и конъюнктура полностью ушли в прошлое, пожалуй, еще рановато. Об этом лишний раз свидетельствует судьба молодого стэнфордского антрополога, получившая широкую огласку. Этот молодой аспирант был исключен из университета в результате давления с китайской стороны, которая грозила в противном случае отказать всем стэнфордским синологам во въездных визах. Вина же ученого состояла в том, что он опубликовал в одной из тайваньских газет материалы о женщинах, которых китайские власти в целях снижения рождаемости заставляют делать аборты на пятом-шестом месяце беременности. Не отсюда ли в американской печати столь редко встречаются положительные статьи о Тайване?

ПОЧЕМУ В КИТАЕ НЕТ СВОЕГО СОЛЖЕНИЦЫНА?

Вопрос этот занимал меня на протяжении многих лет, и до сих пор у меня нет на него однозначного ответа. Я вспоминаю разговор, который произошел у меня с молодой китайкой, изучавшей в нашем университете по обмену английский язык. Она буквально замучила меня вопросами относительно советской литературы и, надо сказать, огорошила, заявив, что ее любимая русская книга — это "Братья Ершовы" Всеволода Кочетова. Я, вероятно, битый час растолковывал ей, что книга эта к литературе не имеет никакого отношения, пока наконец до меня не дошло, что по сравнению с "китайским соцреализмом" даже Кочетов читается с интересом. Особенно трудно было втолковать моей собеседнице, что люди, даже живу-

щие в социалистическом обществе, отнюдь не обязаны мыслить и говорить, как им предписывают "Правда" и "Жеминь Жибао".

И вот что примечательно: большинство американских экспертов по Китаю, включая известного сиолога профессора Баума, в один голос заверяли меня, что китайцы в большинстве своем не в состоянии понять, что же такое равенство перед законом, права человека, независимость личности от государства — таких понятий у них просто не существует, а значит, и взаимопонимание между их и нашими диссидентами крайне затруднено.

И все же очень непросто делать далеко идущие выводы об одной четверти населения нашей планеты, зная, что большая часть страны, где оно проживает, остается практически недоступной для иностранцев. Сам Солженицын, недавно посетивший Тайвань, сказал, что он "часто с болью думает об анонимных узниках китайского ГУЛАГа, которые сумеют рассказать о себе, может быть, только в двадцать первом веке..."

В заключении своих заметок о Китае эпохи реформ я хотел бы привести примечательную цитату из статьи корреспондента "Уолл-Стрит Журнала", побывавшего недавно в пограничной китайской провинции Синьцзян: "В урумчи любят крепкий табак и курят там в основном самокрутки. Я заметил мужчину, занимающегося знакомым старым курильщикам занятием, который только что вырвал для этого дела страницу из маленького красного цитатника председателя Мао... И мне подумалось, что эти священные когда-то книги могут найти применение в народном хозяйстве..."

Уже после написания этой статьи я прочел в газете о создании в Китае Министерства Госбезопасности (чем не КГБ!). Не означает ли этот зловещий факт завершения и без того весьма скромного процесса либерализации, начавшегося после смерти Мао? Как мы все прекрасно знаем, любая полицейская организация в тоталитарном государстве способна оправдывать свое существование и привилегии одним-единственным способом — раскрытием заговоров и арестами врагов народа. Не станем ли мы свидетелями этого столь знакомого нам процесса в современном Китае?

Редакция не согласна с рядом положений, высказанных в статье Амоса Оза. Однако, поскольку автор является крупным израильским писателем и открыто выражает умонастроения левонастроенных кругов общества, мы считаем, что эта статья не может не вызвать интереса у наших читателей.

Амос Оз

ЗА ЧТО ЛЮДИ ИДУТ НА СМЕРТЬ?

1

В 1982 году мы отметили сотую годовщину со дня основания современного движения за возвращение евреев в Сион. То, что началось с драматического, революционного решения горстки евреев — возвратиться в лоно истории, перестав ждать прихода Мессии, — заканчивается теперь стремлением вырваться за ее пределы, то есть действовать вопреки ее законам. То, что началось со стремления создать здесь модель, способную стать примером для других народов, вылилось в стремление быть, как все, и заканчивается теперь несколько странным требованием: иметь право быть такими же, как наиболее дикие из народов — "Почему и м можно устраивать резню, и мир молчит, почему же это недозволено нам?"

2

Одно из самых распространенных заблуждений думать, что Ливанская война — это ход азартного игрока, оказавшегося неспособным вовремя выйти из игры. Ах, если бы они ос-

тановились там, где им советовали остановиться! Например, перед входом в Бейрут! Если бы не стали насаждать правителей в Ливане! Словом, если бы не поддались азарту, дело приняло бы совсем иной оборот.

А между тем все происходящее вокруг тесно взаимосвязано. Выступая с лекцией в Академии национальной безопасности Бегин сформулировал идеологический принцип — о войнах, навязанных обстоятельствами, и войнах, где есть выбор. Из этого принципа прямо вытекают массовые убийства мусульман в Сабре и Шатилии; союз, который мы заключили с убийцами детей против детей убийц, и это странное требование — дайте нам быть такими, как все те, кто может резать и убивать, — тоже вытекает из этого принципа.

Солдаты, возвращающиеся из Ливана, несмотря на разные оценки происходящего, рассказывают, что в истории Израиля еще не было войны, когда бы так беспрекословно выполнялись нормы воинской дисциплины.

Все хорошо, но не следует ли подвергнуть проверке сами эти нормы? Верно, что летчики возвращались на свои базы с нерастраченными запасами бомб, потому что не были уверены, что будут полностью поражены указанные им объекты. Да, выполнение приказов было образцовым, но приказы были таковы, что семи-, десяти- и пятнадцатизэтажные дома, из окон которых стреляли, надлежало стереть с лица земли вместе с их десятками и сотнями жителей. Это были новые нормы в истории наших войн. И если бы народ Израиля так воевал в 1967 году, то от Иерусалима не осталось бы камня на камне.

Итак, изменились нормы, изменилось и восприятие войны, равно как и определение разрешенного и запретного.

По существу — это была своего рода революция, так как воззрения Бегина на разрешенное и запретное — это не просто свободное толкование национального консенсуса (то есть национального согласия), а попытка осуществить революцию в умах народа Израиля.

Неспроста Бегин и его соратники систематически и интенсивно искажают историю сионистского движения. Не случай-

но Бегин почти в каждой своей речи говорит о войнах прошлого, напоминает о грехах и ошибках Израиля — реальных и мнимых, — допущенных им в этих войнах.

Есть в этом какая-то "воспитательная цель" — сказать новому поколению: "Мы всегда были такими, и нет ничего нового под луной. Всегда мы уничтожали и убивали, разница лишь в том, что предыдущая власть лицемерила, делала вид, что ничего не происходит, пользовалась громкими фразами, мы же, правительство Ликуда, не лицемеры, мы говорим народу правду, какой бы она ни была".

Отсюда и эффективность, по-моему ужасающая эффективность того массового внушения, которое исходит от Бегина и его сторонников и прямо-таки внедряется в сознание населения: "Мы народ, который вытерпел такие страдания, что ни у кого нет права учить нас. Все, кто пытается это делать, хуже нас, и поэтому никто не посмеет стать у нас на пути и проповедовать нам свою мораль!"

3

Сказанное выходит далеко за пределы вопроса о том, как нам вести войну на уничтожение ООП, которая ведет такую же войну против нас. Это также выходит далеко за пределы вопроса о том, каково наше право на страну, какой смысл в реализации нашего права на разные части страны, каковы будут наши границы. На сей раз, по-моему, речь идет о самых основах нашего национального консенсуса.

Я хотел бы сказать несколько слов об утраченной чести самого понятия "национальный консенсус", ибо это и есть одна из самых болезненных потерь, понесенных нами после войны Судного Дня.

По невежеству или по злой воле, или, может быть, из-за слабого духа люди спутали понятие "консенсус" с понятием "концепция", а понятие "концепция" с "конформизмом".

Так вот, "консенсус" в отличие от "конформизма" или "концепции" не означает согласия всего народа по всем вопросам — "все должно быть так и только так, и тот, кто не согласен, считается либо отступником, либо глупцом.

Консенсус предполагает согласие между людьми относительно двух-трех основных принципов. Но без такого согласия невозможно вести никакого дела.

Каков был основной сионистский консенсус относительно возвращения в Сион? Возвращение в Сион стоит того, чтобы заплатить за него жизнью, если это будет необходимо. Мы не пацифистское движение, мы не просим у арабов разрешения на возвращение в страну; мы не должны просить их согласия ни с моральной точки зрения, ни с политической. Но убивать и подвергать себя опасности убийства мы будем только тогда, когда не будет иного выхода.

За этот консенсус надо было платить высокую цену: не раз у сионизма была "оказия" извлечь политические дивиденды из применения силы или развязывания войны. Возможно, в глазах диких народов или диких людей мы выглядели смешными с этой нашей сдержанностью. Мы сдерживались там, где другой народ, не раздумывая, наносил бы удары. Мы наносили удары локальные, там, где другой народ ответил бы тотальной войной. (Сравните с поведением ревнителем человеческой гуманности — англичан в Фолкленде.) Но на войну, повторяю, мы шли только тогда, когда не видели другого выхода.

У этой сдержанности была высокая цена, но было тут и большое преимущество: поддержка извне, нерушимый союз с еврейским народом и безоговорочная его поддержка. Преимущество это выражалось в союзе с большей частью внешнего мира, и это теперь забывается из-за стремления вырваться за рамки истории.

Но самое большое преимущество было в нашей внутренней цельности: потому что национальное согласие (Бен-Гурион формулировал очень просто — "это то, ради чего кладут голову"), — означало, что когда выходят на поле битвы, то идут с открытым сердцем. Даже Синайская война, с которой я не согласен в целом, не похожа на Ливанскую.

А все дело в том, что национальный консенсус в том, "за что кладут голову", не может основываться на механическом большинстве. Необходимо согласие значительно более широкой части общества.

Приведу пример, который, может быть, у многих вызовет удивление: если бы Кнессет большинством в 51 процент голосов принял решение возратить весь Синай Египту, то ведь восстать могла самая незначительная группа, восстать и сказать: "Не делайте этого! Такое решение не принимают большинством в 51 процент! Да, именно из-за национального консенсуса".

Тем более это верно в отношении войны и особенно в определении целей войны. Мне кажется, что национальный консенсус действует подобно законам в физическом мире: упругое тело поддается растягиванию, но если вы увеличиваете силу растягивания, в конце концов оно может просто лопнуть — предел упругости все-таки ограничен. Так и в истории: мы видели народы, которые шли на войну, лишённые национального консенсуса. Их воины не писали статей, полных печали, раздумий и анализа — они просто бросали оружие и бежали с поля брани, потому что война, с их точки зрения, была никому не нужной. Этим примером я не хочу ни на кого наводить ужас. До этого мы еще не дошли и, надеюсь, не дойдем.

Однако линия, намеченная Бегиним в его лекции в Академии государственной безопасности, ведет именно к этому. Либо же она ведет к созданию армии добровольцев, и не более. За целостность страны пусть воюют лишь те, у кого к этому лежит сердце, а остальные пусть сидят дома! Этого мы хотим?

Распространенная ошибка, будто разрушение национального консенсуса, национального единства — это дело рук кучки "отравителей колодцев", взбалмошных писателей и газетчиков, пребывающих в вечной погоне за сенсацией и помешавшихся на пацифизме.

Национальный консенсус рушится не сверху, а снизу, из глубины нации. Ведь тот, кто посылает своих сыновей на поле брани, должен еще и убедить их в правоте дела, за которое они идут сражаться. А если невозможно их убедить, пусть лучше сидят дома.

Во всей истории сионизма не было равного тому, что произошло с нами в Ливане. И здесь я должен перейти к политическим концепциям, овладевшим нашими умами. Интересно, например, проследить, как такая оригинальная концепция, как программа Алона (рассчитанная на возврат густо населенных земель Западного побережья Иордана, и оставление долины этой реки в руках Израиля) обретает черты ритуала и становится непогрешимой догмой. Ведь это была не более чем политическая программа, сохраняющая силу на известное, время, но мы видим, как ее реализация порождает обратное. Так же, как друзья мои превратили родину для палестинцев из политической необходимости в принцип веры.

Но кроме превращения политических программ в догмы, на наших глазах произошло и нечто другое. И это нечто усугубляется начиная с 1967 года. Мы превратились в ревнителей монизма, отстаивающего один-единственный тезис: вся красота, вся прелесть и все страдания сионизма заключались лишь в том, что его история всегда была историей войн.

Между тем сионизм предполагал "духовную борьбу" во многих областях и выдвигал на всеобщее обсуждение целую гамму вопросов: какова станет программа будущего общества, какими будут взаимоотношения религии и государства, что собой представляет еврейство, почему и зачем мы прибыли на эту землю... Теперь мы все превратились в виртуозов игры на одной струне: каковы будут границы Эрец Исраель?

Вопрос о границах выдвигается как центральный для Израиля. Сколь бы важной я не считал проблему границ — это все-таки не самое главное. Вопрос заключается в том, что будет происходить в пределах этих границ? Каково будет лицо государства? По какому контуру и по каким принципам будет строиться наша жизнь?

Я могу себе представить очень большой и в то же время очень слабый Израиль, которому грозит национальная опасность. И я могу себе представить Израиль в меньших размерах и в то же время более сильный и крепкий.

Монизм, о котором я говорил — в нем, может быть секрет поражения Рабочего движения, и прежде всего поражения

внутреннего, духовного, а потом уже поражения политического. Получилось так, потому что Бегин и поддерживающее его крайнее движение "Гуш Эмуним" говорят народу простые вещи, а Рабочее движение — вещи сложные, и в этом его слабость. Но если все мы грешили — и я тоже — то грех наш был в том, что мы всегда ставили во главу угла вопрос о границах.

В течение пятнадцати лет мы концентрировали на этом всю нашу духовную энергию и результатом явилось духовное обеднение. Я не говорю о ревизионизме, о "Херуте" или "Гуш Эмуним", там была и есть духовная пустыня: ни творчества, ни мышления, ни одного стихотворения, достойного внимания, ни одной принципиальной статьи, даже ни одного идеологического тезиса, — все старые одеяния, шитые по заказу времени, немного от Ури Цви,* немного от рава Кука** — но все старые одеяния. Да, там духовная пустыня, но и у нас духовное обеднение, частично, как я уже сказал, в результате превращения вопроса о границах в центральный вопрос жизни.

"Гуш Эмуним" сделал ужасную вещь, просто нечто узурпаторское. Они напялили наши полушубки, вооружились разными средствами связи и бегают по горам и долинам с израильскими автоматам "Узи" в руках. Короче говоря, они замаскировались под "Пальмах".*** Притом так искусно замаскировались, что ввели в заблуждение не только зрителей цветного телевидения, но даже и наших отцов. Тон, темперамент и лозунги уж очень напоминают им лучшие годы жизни.

Между тем "Гуш Эмуним" и в малейшей степени не связан с трудовой частью Израиля, он скорее близок к двум крайним полюсам. С одной стороны, к тем, кто по субботам забрасывает камнями машины, проезжающие по шоссе Рамот, с другой — они близки к Исаяю Либовичу, известному своим

* Ури Цви — недавно умерший поэт, ярый националист.

** Кук — религиозный и политический деятель 30-х годов.

*** Вооруженная организация молодежи, по преимуществу кибуцовой, которая вынесла на своих плечах освободительную войну 1948 года.

крайним национализмом. Я ни в коем случае не склонен бросать всех в одну кучу, но всех их объединяет тотальное требование относительно того, что они называют еврейским наследием — "Так и только так мы должны поступить, возьмите нас такими, как мы есть, или оставьте нас в покое! Примите все или признайте, что у вас нет никакой доли в этом наследии, что душа ваша — это площадь Дизингоф,* и не более. А значит, и вы — не наши!"

А ведь речь о том, кому вершить наследием еврейства, — Исаяю Лейбовичу или так называемым "стражам города" (верящим лишь в пришествие Мессии и не признающих даже еврейского государства), или Гуш Эмуним? А может быть, мы являемся законными наследниками тех, кому должны быть вверены судьбы еврейства? И как у наследников у нас есть право решить, что главное, а что второстепенное в нем для нашего поколения, оставляя будущим поколением право по-своему ответить на этот вопрос. Но, повторяю, у нашего поколения есть право выбрать лучшее из этого наследия, и это совершенно законная и оправданная позиция.

5

У еврейского народа — да будет мне позволено употребить этот оборот речи — есть особый талант к саморазрушению. Я не стану сейчас углубляться в его описание, а коснусь одного лишь его аспекта, и на этом закончу.

Частично эта способность евреев вырастает из тысячелетиями выработавшейся склонности нашего характера к тотальности: "Сейчас или никогда!", "Умереть или завоевать гору!" Да зачем нам эти формулировки, когда есть Бялик: "Если есть справедливость, пусть тотчас она воспрянет! А если истина выглянет после того, как исчезну, — пусть трон ее провалится в бездну!" Опять: все или ничего! "Мир сейчас же или гибель государства!", "Целостный Израиль сейчас же или все потеряно!" Вот это стремление к тотальности и есть яркое выражение нашей способности к саморазрушению. Как сионизм, вопреки этому оказался способным жить надеждой — это историческое чудо.

Перевод с иврита К. Левковича

* Главная городская площадь для гуляния в Тель-Авиве.



В. ДМИТРИЕВ

СТАЛКЕР СМОТРИТСЯ В ЗЕРКАЛО

Эссе о творчестве Тарковского

Олегу Охупкину*

Говорят, Андрей Тарковский ставит вместе с Феллини фильм "Ностальгия"...** Но если бы говорили только это! Говорят, что режиссер собирается остаться в Италии. Такое, правда, давно говорят, но слухи эти совершенно естественны. В условиях нашей действительности Тарковский — чудо, явление, ни в какие рамки не вмещающееся. И если он хочет сломать рамки, которые ломают его, то кто же осудит Мастера?

Нам остается думать, всматриваться, болеть... Болеть, разумеется, исцелительно; сострадая и мужеству художника, и житейской прозе его героев, этим мужеством питаемой.

* Здесь, в Лос-Анджелесе, это посвящение имеет для меня совершенно особый смысл. Там, в Ленинграде, я посвятил статью именно Олегу Охупкину, прекрасному поэту. Сегодня я посвящаю ее и всем ленинградским друзьям, дорогим создателям "37", — всем-всем, кто отлично знает, что есть для всех нас и фильмы Тарковского и вся та культурная жизнь, глубина и своеобразие которой особенно осознаются здесь и сейчас...

** В настоящее время фильм уже поставлен.

Искусство Тарковского таило в себе загадку, которая упорно не раскрывалась в его картинах, но наличие которой было более чем очевидно. Художник мучил своей неразгаданностью.

"Сталкер" — последний фильм Тарковского несколько приоткрыл завесу, обнажил эстетический принцип Мастера. Этим фильмом прочертилась линия, выявившая тайнопись предшествующих картин. И в этом — огромная заслуга "Сталкера", огромное его значение.

Возможно, художник поторопился, неудачно расставил "свет", проявил рассеянность, да мало ли что! Но критик успел сделать свое черное дело и громоздит систему, в объективности которой не сомневается, хотя, конечно же, прекрасно знает об ее субъективности.

Именно теперь, когда режиссера постигла неудача, припоминаются все "обиды", тайные недомолвки, упреки и сомнения, пережитые сознанием в пору несомненного приятия фильмов и публичного их восхваления. Новая точка зрения — не отказ от былых восторгов, а некая перестройка взглядов, в которой нашлось бы место и ранее отринутым, отодвинутым в темный угол за их бесформенностью.

Фильмы Тарковского монологичны или, позволив себе некоторую игру слов, можно сказать, что они немолчны. Сложилась парадоксальная ситуация — мастер слова принял обет молчания, символом которого и является его слово. Слово Тарковского опрокинуто в немоту нравственного бытия. История (и много Истории!) нужна Тарковскому для того, чтобы подчеркнуть ее исчезание. Однако, растворя историю в собственной невинности, моральное сознание обнаруживает свой инфантилизм, свою "доморальность"...

Сознательное бегство от истории приводит к любопытным метаморфозам: жалость оборачивается жестокостью, смирение отдает снобизмом, невинность превращается в безответственность.

Вспомним "Андрея Рублева". Невинное сознание Художника отрицает историю, переполненную кровавой виной, но в то же время дорожит сохранением своей ценности в системе

истории. Вот почему уже тогда фильм смущал едва уловимой ложью: профессиональное страдание художника (как себя выразить) хотя и "антиисторично", но абсолютно морально, ибо художник выражает себя через принципиальный союз с историей.

Художник включен в историю, и ее боли есть его боли. Если же сознание художника объявляется невинным, но исторически ценным, то происходит некое снобистское попираание истории посредством эстетического. История лишается смысла, завершенности в самой себе, она может превратиться в бесконечно уродливый кошмар, в этакого злобного сироту, искушающего утонченное эстетическое сознание.

Грязная, почти черная история тяжким грехом запятнала Андрея (он убил Татарина, покушавшегося на жизнь Юродивой), и от этого пятна Андрей никак не может отмыться, то есть: не может отмыться от истории. Не потому ли, кстати говоря, простолюдины испытывали неприязнь к молчальнику Андрею? Обет монаха они воспринимали как брезгливость по отношению к себе (то есть к живому историческому бытию). Вот и получается, что история для того лишь растворяется в немоте нравственного страдания, чтобы добровольно заменить себя с и м в о л о м. Либо царь-колоколом (новелла "Колокол"), либо царь-иконой.

Создатель царь-иконы, страдая от бесчувственно варварского дыхания истории, объединяется в некий союз с создателем царь-колокола — в союз избранных, в союз любимцев муз. Но тайна моцартианства в том, что любимицей муз признается История, живое историческое бытие, чрез искреннейшую любовь к которой и достигается Искомое Благоволение.

Андрей Рублев в этом пункте идеально совпадает со Сталкером: как тому, так и другому мешает слиться с историей некая глубокая застенчивость, почти робость, стеснительность. Один творит Большое искусство, другой — Большую зону, но оба — в надежде преобразить грубую и злую ткань Истории в легкую, эфирную материю, успешно поддающуюся внушениям гордого и сильного Я. Стеснительность и робость (так сказать, интеллигентность) соседствуют с холодом, снобизмом. Мы здесь имеем дело с чисто сальерианским эгоцент-

ризмом, сальерианской сосредоточенностью на форме. Ради формы не жалко никого, даже Моцарта. Давно это было, но я отлично помню цветной рекламный киноролик "Андрея Рублева", когда по экрану металась горящая корова. То был символ жестокой и страшной эпохи. Но жалко-то было корову, а не эпоху. Когда фильм вышел на экраны, много говорили о фресках Рублева, погибших во время съемок. Троица — стоит истории; "Андрей Рублев" — стоит самого Рублева; музыка Моцарта — стоит Моцарта, а образ эпохи — стоит какой-то там коровы...

ВЫЖЖЕННАЯ ПУСТЫНЯ

И как ни поразил фильм Тарковского тогда, почти двадцать лет назад, а все же было ощущение некоторой с к у к и, затянутости ритма. Тогда страшно было и подумать такое на картину, ощущение загонялось вглубь, воспринималось как кощунственное по отношению к ней. Но оно, это ощущение, было верным, оно зафиксировало очень важный момент, недоступный тогдашней рефлексии: Тарковский принципиально не может слить воедино камерность интеллектуального чувства с эпичностью внеинтеллектуального бытия. Он не верит в духовность истории. В духовность ее плоти, он не верит, а отсюда и сальерианство его эстетики. Герои Тарковского словно застревают между живым историческим событием и авторской рефлексией.

В картинах Тарковского не собственно ритм, а р а з м ы ш л е н и е над ритмом, алгебраическая функция ритма; первоначальный, непосредственный ритм "оттирается" ритмом замедленным, ритмом сопровождающей интеллектуальной рефлексии.

Вспомним самый первый фильм Тарковского "Иваново детство". Режиссер рассказал о трагедии мальчика, попавшего в жернова войны. Ужас войны в том, что она смешала определения. К т о есть Иван, у которого отнят мир, но

который остался в этом мире? Ни взрослый человек, ни подросток. Некое принципиально новое существо, возвращенное кровавым разгулом истории. Своеобразие этого существа в том, что оно абсолютно самодостаточно и принципиально не нуждается в нашем сострадании. Ведь это сострадание не смогло спасти его от пережитого ужаса.

Достаточно вспомнить знаменитый взгляд Ивана, который буквально преследовал нас с многочисленных киноафиш. Этот взгляд ребенка, отвергающего самое наше сочувствие, твердо знающего, что предстоящее ему одиночество отнюдь не страшнее уже пережитого ужаса. Тарковский, гениально уловивший рождение нового человека на развалинах моральной истории, совершенно не верит в последнюю, хоронит ее, намеренно выискивая выжженную пустыню там, где ее не видно.

Опустошенное сиротское "я" не терпит возле себя контраста — живых естественных красок, живой естественной жизни. Вот почему ужас внушает не взгляд Ивана, а то обстоятельство, будто мир достоин этого взгляда. Война превращается в извечную, так сказать, реальность, полную мирного тихого пространства.

ВНУТРИ СОЗНАНИЯ

В третьем фильме Тарковского ("Зеркало") история просто-напросто исчезла, уступив место чисто субъективному переживанию, растворившись в интеллектуальной эмоции, в собственном своем отражении.

Зритель оказался в н у т р и сознания, практически лишённого индивидуальных черт. Так что перед нами уже не было героя, снобистски сторонящегося мира, а был м и р (героя?), снобистски сторонящийся собственно зрителя... Режиссер дал "портрет" своего мышления, отсеки зрителей, чуждых идее эксперимента.

Что сделал Тарковский? Он перемешал эпизоды-воспоминания Отца и Сына, Матери и Дочери. Он подал эти воспоминания как собственную рефлексия, как собственный душевный опыт, в котором своеобразно преломилась биография рода. Произошло то, что не вполне удавалось в системе "реалистического" повествования: индивидуальное успешно совпадало с родовым, с "коллективным", но в пределах эстетизированного, ф о р м а л ь н о г о . Недаром законные представители обыкновенной человеческой истории посредством топота скандалили по поводу неслыханного снобизма картины. Обыкновенная история, истаяв перед порогом эстетического, переродилась в собственный символ, в царь-историю, в этакое творца-самодержца и, конечно (в лице обыкновенного советского зрителя) не узнала себя.

Любопытно, что примерно в это же время вышел на экраны фильм Кончаловского "Дядя Ваня". Михалков-Кончаловский разрешил загадку великой пьесы, разъединив двух близнецов-героев — Астрова и Войницкого.

Войницкий — гениален, причем гениальность его продемонстрирована пластическими средствами (средствами кино). Фантастическое богатство измерений, игра красок, необычность композиции — суть мышление Дяди Вани, интерьеры его духа, совпадающие с интерьерами Дома — и тесного и бесконечно огромного одновременно (явно синонима Вселенной). И если до этого фильма мы думали, что Дядя Ваня посредственен, а Астров блестящ, талантлив, то Кончаловский переубедил нас, буквально растворив в космосе "Войницкого Я" историческую реальность.

Два этих фильма — "Зеркало" и "Дядя Ваня" не просто украсили собою советское кино первой половины 70-х годов, а определили его как эпоху "субъективного кино". В этих двух фильмах История исчезла в качестве объективно данного, поддающегося политико-идеологическим измерениям бытия, но развернулась в качестве д у х а , живущего собственной глубиной.

ДУХОВНЫЙ КОСМОС

Ни Тарковский, ни Михалков-Кончаловский более не поднимались до таких вершин, но слово было сказано, и оно осталось в истории безотносительно к дальнейшим неудачам тех, кто его произнес. Если неудача Кончаловского с его "Романсом о влюбленных" — просто постыдна, позорна, то неудача, постигшая Тарковского гораздо более "респектабельна" что ли.

Речь идет о следующем фильме Тарковского "Солярис". Астронавты попадают на планету, представляющую собой гигантское Я, усиленно втягивающую их в орбиту собственного мышления, пытающуюся их в этом мышлении (или этим мышлением?) растворить. Как видим, модель Тарковского осталась прежней: творческое Я противостоит Истории, сопротивляется навязываемому контакту. Нетрудно заметить, что финал "Соляриса" повторяет финал "Рублева": между загадочным, таинственным Океаном (молчаливый монах Рублев) и Астронавтами (дерзкие экспериментаторы, этикие отроки от вселенской Цивилизации) устанавливается контакт.

Тарковский думает, что он усложняет научную фантастику, подменяя ее "натуральный" космос космосом своим собственным, духовным. Такая подмена принципиально невозможна. Лучшие произведения научной фантастики, как правило, противоречат законам жанра, призванного удовлетворять интересам подросткового мышления, фантастика на научно-позитивной основе не есть фантастика, а есть изобретательство, инженерно-техническое творчество. Основой фантастики в искусстве всегда является собственно форма, собственно художественное изобретение.

Художник не может фантазировать в области человеческих отношений. Он исходит из того, что зрителю (читателю) эти отношения известны ничуть не хуже самого художника. Художник фантазирует в области передачи всем известных переживаний.

В лучших произведениях научной фантастики волнующие аксессуары жанра — всего лишь средство ограничения

наиболее эффективного показа "изобретенных" самой жизнью переживаний. Тарковский прав, когда не воспринимает "Солярис" как "научную фантастику", но неправ, когда коренным образом ломает сюжет, подменяя тот же Океан — своим собственным Я, становясь незримым центром сюжета. Художник впадает в нарциссизм, в самолюбование. Пристальное всматривание в природу оборачивается пристальным всматриванием в самого себя. Главным героем оказывается Камера (оператор), а не собственно герои. Психологическая проблематика уступает место чистому изобразительству, чистой, так сказать, красоте и "чистота" эта, между прочим, от углубляющего ее философского смысла, от рефлексии...

Герои, претендующие на самостоятельную психологическую реальность, раздражают Камеру, мешают ее автономии, а отсюда и своеобразная пластика тарковских картин — персональная жизнь героев движется и развивается параллельно с собственной жизнью камеры, поглощенной какими-то своими, персонально ей важными моментами.

ЗЕМЛЯНЕ И ПРИШЕЛЬЦЫ ТАРКОВСКОГО

Если в повести Лема Камера вытеснила Океан, то в повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" Камера вытеснила собою Зоны, в результате чего шесть "Стругацких" зон превратились в одну, да и ту чрезвычайно сомнительную, лишённую чудес, так искусно придуманных талантливыми фантастами (между прочим, и лемовского Океана в "Солярисе" мы практически не увидели). Можно сказать, что Зона Тарковского пожрала не только своих сестер по сюжету, но и самый сюжет пожрала, оставила от него лишь рожки да ножки...

Если смысл повести в том, что человек и есть вместилище Космоса (человек как дух, как последняя реализация Истории), то смысл фильма в обратном: вместилищем Космо-

са является Зона (тавтологическое повторение Космоса). В силу этого принципиального различия Зона Тарковского уже изначально враждебна человеку, как существу недостойному Камеры, как существу, которому Камерой явно предпочтен Космос. Это самый главный пункт, в котором братья Стругацкие подвергнуты экзекуции — перевертыванию с ног на голову.

К чему сводится суть дела у Стругацких?

Землю посетили пришельцы, оставив после себя шесть огромных участков ("Зон"), на территорию которых доступ категорически запрещен, поскольку творятся там всякие чудеса, странно действующие на людей, тем или иным образом туда проникающих. Государственные власти защищают людей от непонятных влияний, а люди упрямо тянутся к запретному плоду, рискуя погибнуть от избытка чудес, с одной стороны, и от нарушения законности — с другой. Сталкер как проводник в зону есть человек вне закона, но он человек, стало быть, подлежит высшему, Божьему суду.

Но эту метафизическую идею читатель волен разглядеть, а волен и не разглядеть в повести Стругацких. А вот идея, которая писателями сформулирована прямо и недвусмысленно: по отношению к инопланетянам мы, земляне, все равно что какие-нибудь букашки и сикарашки по отношению к людям... Посидели люди возле дороги на траве да и отправились далее, восвояси. Букашки изучают всякие там мятые бумажки, осколки, объедки и по этим предметам пытаются установить облик "пришельцев". И это — не пессимизм по отношению к нашим возможностям, а одна из форм познания таковых; авторов повести интересует именно человек.

Тарковский перевернул отношение: его интересуют не столько земляне, сколько пришельцы, так что уподобленность человека сикарашкам остается в силе да к тому же переворачивается и первая (необязательная) идея: как проводник в зону Сталкер есть не человек вне закона, а человек закона, но такого, который принципиально недоступен землянам; для них Сталкер — такая же тайна, как и сами пришельцы.

В роли мифических пришельцев выступает авторское Я, компаньющее сюжет (Камера). Всех, кто сомневается, Тарковский помещает между Сталкером — лысоголовым мальчиком неопределенного возраста, и — отсутствующими пришельцами (то есть собой). А это значит, что уже сам сюжет превращен в зону и зритель также слепо зависит от Тарковского, как Писатель и Ученый — земляне, отправившиеся в Зону, — зависят от Сталкера.

ЗЕМЛЯ, НЕДОСТОЙНАЯ КОСМОСА

Важно помнить, что научно-фантастический Космос Стругацких в поэтике Тарковского символизирует сальерианское Я. То, что у Стругацких — невинные космические пришельцы, то у Тарковского — представители идеально-эстетического мира, имя которому "Вселенская Гармония". Тарковский создает фантазию об эстетически-стерильной душе, существующей в мире антиэстетическом (то есть: о себе самом) и получается парадокс: Земля, обожженная Космосом, его суровым касанием, оказывается антикосмической силой, она как бы недостойна Космоса! (Так вот и История оказывается недостойной Художника.) Стругацкие тут средство, а не цель. Они — зеркало, смотрясь в которое, Тарковский видит только себя. Верить в пришельцев — нравственно, потому что они воплощают эстетически чистую душу Автора. Ища доказательств, Писатель и Ученый, как бы вырываются за пределы сюжета (Зоны).

Чудотворность Зоны постулируется не "примитивными" чудесами Стругацких, а изначальной авторской установкой на собственную идеальность, собственный эстетизм. Писатель и Ученый оказались в ловушке: на поверхности амальгамы, отражающей Автора.

Союз сальерианского космоса и подлинно свободных исторических субъектов логически невозможен. Если принять сторону Зоны (Тарковской кинокамеры), то Писатель и Ученый недействительны. Если принять сторону этих интеллигент-

тов, то наличие Зоны превращается в очень серьезную проблему... Вопреки всем эстетическим канонам два сюжета мирно уживаются в одной композиции. Если в первом сюжете Зона поглотила всех и вся, то во втором она выступает как досужая сплетня, как темный городской слух.

Ученый и Писатель как вошли в досужую фантазию обывателей, так из нее и вышли. Правда, они честно пытались пристроиться, всячески приладиться к Зоне, но там действительно лишь поведение Сталкера: его немота, распластанность, поразительная физическая мобильность... Все остальное обречено на то, чтобы выглядеть мешковатым, болтливым, неумелым, капризным, трусоватым, короче — лишним... Так Камера отвергла героев, как бы выбросила их из сюжета. А герои отвергли Камеру, они ее выбросили из сюжета, заявив в финале картины, что никакой Зоны нет.

Лишь сначала Зона поманила героев. Мы помним, как Писатель топтался на пороге заветной комнаты, всматриваясь в таинственную ее черноту. И голос ему даже был... Человек Тарковского стоит на пороге своего превращения, на границе собственного исчезновения и тревожно всматривается в тьму, в которой хочется ему себя сохранить.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Для продвижения в условиях Зоны необходимы два свойства: либо возможность спасения внутри второго сюжета, либо некое Превращение, как у Сталкера. Сталкер что-то про Зону знает, чего не знаем мы, но знания своего передать не может, поскольку пребывает внутри двусюжетной композиции. Наше знание о Сталкере гораздо богаче, нежели его знание о нас (о тех, кого он водит в Зону). Мы знаем, что он превратился, что для нас он уже не хомо сапиенс, не брат наш по крови. Он для нас — загадочный представитель Зоны, представитель Космоса и тянется к нам из глубины собственного нашего исчезновения. Боимся мы того, что схватит он нас и потащит. Спасает нас только одно: он тянется к нам

весьма своеобразно, как к своему отражению. Только того он может понять и вступить с ним в истинный диалог, кто зеркально его отражает, в ком он может узнать себя. И именно поэтому он никого не может узнать. Для этого необходимо признание со стороны Зоны, и Сталкер проверяет людей на преданность таковой, на "превращение". Писатель и Ученый рады бы превратиться, но тогда получилось бы, что контакт между идеально-нравственным субъектом и обыкновенными грешными людьми (Историей) возможен. А потому и Писатель и Ученый постоянно сомневаются, не верят в Зону, она намеренно ускользает от них, дабы не допустить совпадения с собою. В погоне за Зоной и Писатель и Ученый теряют в наших глазах как интеллигенты; все их споры-разговоры да препинания — вызывают недоумение своей претензией на нечто значительное. Скучно все это, мелко.

Стереозффект не сработал. Как ни крутится зритель, а глубины все не получается: то интеллигентам надо сопротивляться, ибо уж очень тянут в свою компанию, то Сталкеру... Так картина и проходит под знаком взаимоудаления (взаимовжятия?): Сталкер вживается в Зону, Писатель — в Ученого (да так нервно, что Ученый вынужден ядовито заметить насчет чужих штанов, в которые не стоит залезать), а зритель — в кресло... И каждый остался при своем: Идеальный Нравственный Субъект при своем Обосновании, интеллигенция при своем скептицизме (или пошлости? это у автора неразборчиво), а Зритель — при некотором недоумении и эстетическом впечатлении...

ПОДРОСТКОВОЕ ЧТЕНИЕ

Тайна Зоны в том, что, оставшись для нас тайной, она лишилась всякого смысла, рассыпалась. В силу своей данности Зона обречена на раскрытие тайны, как был обречен на раскрытие тайны Бог, когда в образе человека явился на Землю и творил чудеса... Поверить в Бога, значит, поверить не на слово, а в Слово, то есть оттолкнуться от какого-то Основания.

У всякой религии есть свое Основание. "Основанием" Сталкера явилась Зона, но у этого Основания нет опоры в Истории, нет метафизического прошлого, а потому оно обречено на то, чтобы быть только "под Сталкером", быть его личным делом, быть его собственным зеркалом, от которого ему и не оторваться. Если уж употреблять такие аналогии, то у братьев Стругацких Сталкер ближе к апостолам, поскольку его "Бог" — Зона — щедра на чудеса, она покорила Сталкера своим чудесным таинственным языком. Сталкер же Тарковского — раб Великого Инквизитора. Он требует подчинения не таинственным чудесам, а только лишь авторитету. Сталкер братьев Стругацких — суть Моцарт; он хочет осчастливить людей, и такова его последняя мысль. Сталкер Тарковского — Сальери; он хочет всеобщей смерти, его Зона не музыка, которая должна зазвучать ради других, а яд, который нужно бросить в чашу жизни, дабы та не раздражала "посвященных" своим бесконечным разнообразием.

Ничто не может спасти Сталкера в наших глазах: ни мягкие, застенчивые интонации, ни чтение стихов Арсения Тарковского, которые на этот раз, кстати говоря, производят впечатление довольно жалкое, одним словом — ничто. Перед нами — инопланетянин или, скорее всего, даже подросток; не только герой, но и читатель научной фантастики.

Сальерианская эстетика совпадает с подростковым мышлением. Сальери — подросток, боящийся собственной старости. Сталкер Тарковского — интеллигентный недобрый мальчик. Мы-то думаем, что Тарковский берет за Лема или Стругацких как философ, но в действительности имеем дело с подростковым чтением.

Вот, например, говорливый Писатель, который хотел оказаться в заветной комнате (главное чудо Зоны) с тем, чтобы узнать: гений он или не гений. Согласитесь, читатель, что это вопрос не зрелого человека, а мальчика, вступающего в жизнь, еще не пережившего духовного становления. Вот как мальчик Писатель и сунулся в Зону, проявив мужество не там, где это необходимо: мужество гениальности не в том,

чтобы пройти через темную комнату, когда из угла может выскочить черт, а в том, чтобы выносить и выразить мысль, несущую в себе раскрепощение, подлинный элемент свободы.

Ученый, кажется, выглядит посolidнее. Не такой нервный во всяком случае. Но со вкусом и у него не все ладно... Мы помним, как перед порогом заветной комнаты он дозвонился до человека, лет двадцать назад уведшего его жену. Разговор отдавал привкусом пошлости. Не может из глубины подросткового сознания вырваться интимный разговор на интимные темы двадцатилетней давности. Возможно, что тайной мечтой Ученого была смерть злодея, уведшего жену. Но телефонная игра этой смертью удивила своей претенциозностью, своей несерьезностью... Старый мальчик пугает злого дядю...

Что касается нас, то мы снисходительно отнеслись к тому, как к ногам трансцендентального убожества режиссер бросил представителей Мысли, предварительно оскотив их разум. Нам все равно, мы вжимались в кресло. В гораздо худшем положении оказалась жена Сталкера, пытающаяся убедить и нас в необыкновенных качествах своего мужа. Она ревнует своего мужа к Зоне, она ненавидит эту Зону. Умная и тонкая актриса, доверившись режиссеру, не успела сообщить, что играет девочку. Прямо к нам, к зрителям, обращается она с гневными жалобами на мужа, а нам ужасно неловко: ну как объяснишь, что муж ее мальчик, которому его детские фантазии дороже такого странного недоразумения, как жена и ребенок. Ее же одновременное восхищение мужем, уважение к нему ставят нас в еще более глупое положение: оказывается, плевать ей на нас с нашим копеечным мещанским сочувствием; ее муж герой, и она им гордится. Мы чуть было не сунулись с советами, что не она, бедная женщина, а Зона ему жена, что вся необыкновенность его — научно-фантастического порядка и простирается перед нею ниц, доводить себя до такого запустения ради нее просто не стоит, это напрасная жертва! Однако никто тут в советах не нуждается, ибо все счастливы и уверены в своей идеальности (самодостаточны).

Вся эта демонстративная нищета, весь этот культ анти-эстетизма, бесформенности, нарочито грязного мрака — не что иное, как бессознательное стремление унижить мир, насильно преклонить его голову перед вселенской гармонией. Мир упорно не желает вмещаться в наркотическую реальность Сталкера, и это упорство мира глубоко удивляет Тарковского, сделавшего все, чтобы приблизить мир к наркоману: от обезумевшей в мазохизме страсти жены до всемирной истории, превратившейся в сон, погрузившейся на дно, безнадежно перепутавшей все свои атрибуты, в том числе, разумеется, и шприцы.

Это самые блистательные кадры фильма. Их обаятельная мощь в максимальном выражении авторской мысли, в максимальном даже по отношению к ней самой: не грязно-уродливым, а сомнамбулически бесформенным, застыло-прозрачным предстает перед нами мир, увиденный глазами Зоны... Бесконечность, спрятанная в мире, пробудившись, ввергает его в сон, одаривает миром и покоем солнечно светящегося праха. И мы реально осязаем, как все наше лучшее, вся наша мифология, дух бессмертный наш, как реальная наша история буквально повисают между грязной бесформенностью настоящего и сонной неподвижностью Вечного, слепо созерцающего нас контрастно играющими бликами...

ПОЖИРАЕМЫЙ ЗОНОЙ МИР

Кровожадность Зоны, о которой так много говорили, которой так пугали зрителя и проявления которой зритель устал ждать уже к середине фильма, оказалась не мифом, но реальностью. Только Зона слишком кровожадна для того, чтобы довольствоваться столь малыми кусочками — какими-то ничтожными интеллигентшиками. Ей нужен весь мир, никак не меньше.

И символом того, что мир пожираем Зоной, является образ девочки — дочери Сталкера, единственного взрослого существа во всей этой фантастической компании травести. Взрослое существо, переполненное болью, и впрямь ребе-

нок. Здесь подростковое сознание нашло адекватное себе воплощение. Тарковский, описав длиннейшую дугу во времени, вернулся к самому первому своему герою — Ивану. Вот когда стал понятен знаменитый его взгляд, взгляд сквозь зрителя, сквозь наше сочувствие. Ограбленный жизнью, обездоленный Иван — передвигал своим взглядом предметы. Своеобразно, по-мальчишески, он реагировал на свое слишком взрослое горе. Так реагировала на свое горе дочь Сталкера, сосредоточенным, не по-детски серьезным взглядом передвигая стаканы; так реагировал на свою обездоленность ученик Андрея Рублева, взяв да и отлив колокол на почве глубокого "нервного потрясения"... Тарковский гениально уловил дух революции: из такого вот детского страдания и вырастают сверхчеловеки; обездоленные и обездомленные, они переселяются в воздушные замки гениальности, при этом расстреливая уютный мир своими невидящими глазами...

Вот почему, честно говоря, самый симпатичный из всех персонажей картины — черная собака. Тут пластически вылепленное молчание не было чревато опасностью претенциозного инфантилизма.

Трансцендентальный субъект Тарковского рассыпался как картонный домик, разваливался, потому что решил существовать вне индивидуального сознания, остраненно, самодостаточно. Индивидуальное сознание, проникнув в самые недра Трансцендентального, оказалось... наедине с обыденным, наедине с самим собой, все в той же тьме и серости традиционного бытия. Круиз по бесконечности завершился. Сумма сладостно острых ощущений ничего не дала сознанию, избежавшему углубления в собственные недра, упершемуся во внешнее, себестороннее. История, пришедшая к финалу, лишается смысла, а стало быть, лишается смысла всякое желание, всякое движение. Недаром все герои замирают в созерцании серебряного дождя...

Герои Тарковского двигались не в глубь себя, а прямо в обратном направлении: в таинственную глубь от себя. А куда же и двигаться отражению, блистающему на амальгаме, как не в сторону смотрящегося?

Для наших героев Зона оказалась вполне достоверной, умопостигаемой реальностью. Сталкер способен жить в этой реальности не только умом, но весь целиком, без "остатка", даже с женой и дочерью, о чем и сообщил своим спутникам. Он заявил об этом скромно, как о сугубо своем желании, но мы почувствовали себя обязанными разделить эту любовь его к Зоне, ибо такова воля Автора, явно сочувствующего этому Сизифу и Христу одновременно.

К счастью, новый план по спасению человечества провалился. Сталкер сильнее танков, но слабее среднего человеческого скептицизма. Режиссеру прискорбно, что человечество упускает шанс стать счастливым. И прискорбие это есть прискорбие Камеры, которая так любовно выписывала образ Сталкера: его ящерице-птицеподобную голову, так грациозно, так страусно сидящую на длинной шее, его нетутошные голубые глаза...

Зрителю должно быть понятно, почему никто из героев так и не переступил порога заветной комнаты — по ту сторону порога отражение встречается с отражаемым (со своим носителем). Вот герои и топтались внутри бесконечности, совмещая в себе все временные пласты, то есть будучи и детьми и взрослыми одновременно (пожалуй, они были даже и животными — если учесть не только наличие собаки, но и пластику и реакции Сталкера).

Все три ипостаси авторского отражения сохранялись при условии — не переступать заветного порога, иначе — тут же бы исчезли... Достаточно вспомнить финальную возню перед порогом заветной комнаты, когда герои и вовсе впали в косноязычие: невозможно было разобрать ни одного произносимого ими слова. Они тут максимально, прямо-таки вплотную приблизились к самой сердцевине космоязычного субъекта — авторскому Я. Земные герои отказались от новоявленного спасителя мира, они раскусили бесчеловечную его природу, призрачность его зловещей реальности. Но этим самым убогонькие интеллигенты окончательно оплевали себя в глазах Камеры, окончательно и бесповоротно вышли "в остаток", оказались "недостойными"...

ДУХ ЛЮБВИ — НЕ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЕРИФРАЗ

Да, Тарковский скептик, он не верит в совершенство мира. Для людей все эти чудеса — только картинки. Для него — жизнь космического Сверхсущества, таинственного трансцендентального сознания. Теперь мне понятно мое вяло-торжественное оцепенение, когда я тоже созерцал этот дождь, только по другую сторону от героев, как бы из глубины зеркального их отражения: я наслаждался фантастическим талантом этого сверхсущества, его умением творить земную красоту. Однако меня продолжало не устраивать его упорное безразличие к красоте человеческого несовершенства. Не слишком ли многое ушло в остаток? Я противник скептицизма, в основании которого лежит оптимизм по отношению к очередным спасителям рода человеческого.

Устали мы от спасителей, мечтающих о мире и тишине как результате всеобщего вымирания. Наш спаситель, конечно, особенный, "интеллигентный" — он и скромнен, и бескорыстен, и муху не обидит, может стихотворение прочесть, дома книги держит, собаку из Зоны привел... Достоинств не счесть...

Все было бы хорошо, да одно вот плохо: не понимает людей, глух к их посредственным, мирским желаниям, суетам и тоске... Я подозреваю, что реальный Ученый и реальный Писатель — гораздо умнее, чем мы с вами о них думаем, чем тавтологически схожие их тени. Наше впечатление отравлено тотальным присутствием Сталкера, идеального нравственного субъекта (именно Зона делает это присутствие тотальным, да в этом, кстати, и самый ее смысл).

Там, где присутствует Идеал (наделенный правами указывать путь и прерывать беседы, кидая левой рукой таинственно свистящие гайки), там нечего делать людям обыкновенным, тем более — со страдающей мыслью. ("Экие вы, господа-интеллигенты! Вон моя дочь: ходить не может, с ногами у нее что-то, зато глазами стаканы передвигает. Недавно последний хлопнула... А потому, что талант, воля! Живет человек, а не праздными мыслями мается. Гля-

дишь, еще и книгу напишет о том, как в эту Зону, в светлое наше будущее, ее отец дорогу прокладывал. А ну-ка, дождик, ярче брызни, золотыми струями обливай! Эй Писатель, больше жизни, не ворчи, не задерживай, шагай!)

Тесно и убого новому космическому человеку Тарковского в этом обветшалом, заскорузлом мире. Хмуро ему тут, пасмурно. Но ведь не только же в Зоне светлого будущего идут солнечные дожди. И не надо быть новым космическим человеком, чтобы восхититься ими, по старинке замереть и задуматься...

Мне не нравится пробрасывание старым миром в угоду новому косноязычию со всеми его таинственными атрибутами. Нормы хочется, обыкновенной нормы, да простится мне эта тавтология. А норма там, где возможна самоирония. Как ни жалок Писатель, а уж тем велик, что способен над собой подшучивать (кстати, Тарковский довольно далек от юмора, и это важно). Трансцендентальный космический субъект юмора не любит, ибо таковой означает смещение в сторону земного, обыкновенного субъекта, а значит, и отклонение от Истины. Но Истина, отклоненная от себя самой, держится духом любви — истинно молчаливым и истинно деятельным, сторонящимся соблазна представать перед нами в образе юродивого, щеголяющего отрепьями.

Персонафицированный космос торжествует победу, а нам неуютно, ибо именно юродства мы не хотим, юродством мы сыты по горло. Авторские попреки миру повисают в воздухе. Вот когда умрем и родимся заново, тогда, быть может, и поверим Тарковскому, что современный человек испугался п е р е с т у п и т ь , испугался быть Сталкером. Но пока мы живы, мы более действительны, чем Сталкер и его нервные спутники. Мы задаем вопросы не Зоне, а Богу, и деликатно-неумолимая власть Юродивого не распространяется на нас. Оно и понятно: дух Любви — не мертвое отражение, не зеркальный перифраз, а — драма, в которой нужно уцелеть. Это драма жизни, а не пространства, драма свободы, а не воли...

Это письмо в Россию Владимира Шляпентоха, как и прошлые его письма, публикуется без изменений. Мы сохранили авторский стиль и даже некую сумбурность в изложении мыслей.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ



АМЕРИКАНСКАЯ КОМАНДИРОВКА

Письмо в Россию

Дорогие друзья!

Сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях, связанных с путешествиями по Америке. Должен вам сразу признаться, путешествия по стране лишены того удовольствия, которое мне доставляли поездки по другой стране раньше. Тогда каждый элемент командировки или поездки на курорт воспринимался мною как настоящее приключение. Если же еще учесть мою склонность воспринимать каждую жизненную ситуацию в игровых терминах, обстоятельство, которое так мне помогло в последние дни в Москве (благодаря этому, пребывание в таможне, которым меня пугали, превратилось для меня в приятнейшее времяпрепровождение), то понятно, почему мое движение по стране воспринималось мною как настоящий вестерн.

Действительно, приобретение билета — разве это не было иногда настоящим мужским делом, требовавшим от меня использования связей, настойчивости в применении телефона

(звонить подряд в бюро заказа сто-двести раз) и т.д. А движение в аэропорт или на вокзал, посадка, размещение в поезде — разве не множество позитивных эмоций я приобретал, когда успешно решал каждую задачу? Ситуации, когда "идет задержка" (термин, поразивший однажды нас в Душанбе) и когда надо провести в аэропорту многие часы и даже дни, и когда надо принимать быстро рискованные решения — ехать поездом, возвращаться домой, сидеть в аэропорту!

Но, конечно, все бледнеет перед задачей получить место в гостинице, задача, которая всегда привлекала меня своей сложностью. Нет, я положительно индивидуум, ориентированный на выбор задач высокой трудности, я явно испытываю, "потребность в достижениях", если использовать терминологию Гарвардского профессора Мак-Клиленда, который не ответил на мой звонок, когда я был в Кембридже ("возвращение звонков" теми, кому вы позвонили, является в Америке одной из центральных проблем в человеческих отношениях: если вам не "вернули звонок", это значит, что вас не знают и знать не хотят, не уважают, просят отвязаться и т.п.). Воистину украшением моей биографии является мое проникновение в гостиницу "Интуриста" в Ялте, когда я использовал гамму разнообразных методов, чтобы доказать, что мне надо сделать исключение и поселить рядом с восточными немцами и чехами. Я ссылаясь на работу в "Правде", на необходимость выполнения срочного государственного задания, на готовность звонить в горком партии и на что-то еще и еще. А моя блистательная победа в Академгородке, когда моих любимых коллег, которые приехали вместе со мной в мой родной городок, поселили в разных номерах! С каким радостным ощущением борьбы и предвкушения победы я рванул в бой с администрацией! Как я гордился своим положением, когда я мог позвонить, подумайте только, — первому секретарю райкома — и когда? — в воскресенье, и попросить его соединить моих любезных подруг в одном номере!

Уверяю вас, что мне легко продолжить список моих блистательных побед на ниве передвижения по отечеству и только

недостаток места и времени заставляют меня ограничиться этими, правда, я надеюсь, убедительными примерами.

Так вот, милые друзья, ничего похожего здесь вы не найдете. Все невыразимо скучно, как и многое другое, в Америке.

Заказать билет здесь дело для грудных детей, лишенных всякого престижа. Вы набираете номер, слышите ангельский (до противности доброжелательный) голосок девушки, обесценивающий сразу весь набор средств, который иногда помогал в другой жизни при таких контактах (например, акцент на интеллигентность, причастность к миру искусства), и через несколько минут вы решаете задачу приобретения билета, не испытав ни одной положительной эмоции.

А теперь представьте себе, что вам необходимо изменить рейс самолета. Боже мой, сколько возбуждения вызывала такая задача в Москве, которую я, признаюсь, всегда старался избежать из-за уж больно невыносимой волокиты. А здесь опять-таки позорно просто. Вы звоните, и через некоторое число минут ваш рейс изменен. Однажды я менял рейсы пять раз в течение одного дня и напрасно я жаждал возмущения. Компьютер, который решает все эти задачи, был безразличен ко всем превратностям, заставившим меня менять время отправления из Сан-Франциско и ни разу — ни разу! — не потребовал у меня объяснения и не дал мне возможности по-человечески объяснить, почему я вынужден это делать, почему мне надо обратиться за поддержкой к вышестоящему товарищу по агентству и т.д.

А поезда или автобусы? Да они просто выдают вам билеты, годные на месяц и вы можете выбирать любой час и день. Мне тоже стоило усилий привыкнуть к этой в общем равнодушной атмосфере общественного транспорта, которая как бы начисто отменяет личные контакты граждан с администрацией, лишает последнюю быть в курсе драматических событий в жизни граждан (болезни и смерти, свадьбы и особые встречи, о чем граждане с готовностью и необходимостью рассказывают им ради нужного билета).

Опоздания? В авиации в общем очень редко, а если пас-

сажиры застряли на день из-за непогоды, то эта новость по ТВ национального масштаба. Зато поезда более склонны к опозданиям, и тень железного наркома и его методов преодоления нарушений графиков движения поездов в 30-е годы им бы не помешала. Причины? Железные дороги в общем государственные, в то время как авиакомпании частные и ведут на радость трудящимся ожесточенную борьбу друг с другом, мало напоминающую соцсоревнование. Впрочем, опоздания поездов не столь уж велики (иногда на час-другой), но это на фоне авиации и автобусов, курсирующих практически безупречно, раздражает и даже может навести на сообщения, направленные против государственной собственности, конечно, только в Америке.

С поездами может конкурировать по неэффективности другое госучреждение — почта. Девушки в московских отделениях связи — великие труженицы и необычайно расторопные работники по сравнению с их американскими коллегами, плотно защищенными от посягательств клиентов профсоюзами.

Двигаясь от вокзала к гостиницам, я должен вас сразу предупредить, что я дико тоскую по такому замечательному феномену, как "отдых дикаря". Нет, нет, не просите меня приводить вам личные доказательства того обилия впечатлений и переживаний, с которыми связан такой отдых. Здесь только уместно затронуть проблемы неопределенности, когда-то модные в науке. Как трудно было всегда предсказать количественные значения параметров, которые определяли качество вашего отдыха. Сколько разочарований, но зато и сколько приятных неожиданностей! Какая динамика взаимоотношений с хозяйкой и как разнообразны конфликты с ней и другими отдыхающими? А сколько дружественных и даже сексуальных отношений возникает на почве дикарства? Боже мой, как горестно, что я начисто лишен этих источников радости и печалей, этой полной особой прелести борьбы за место на пляже, в кафетерии или на станции предварительной продажи билетов за 20 дней вперед! Как далеки от истины те читатели этого письма, которые думают, что я иронизирую! Как тогда они меня мало знают! Но тогда, кому я пишу?

Разве не вам, мои дорогие друзья, которые по определению должны понимать, что для меня эта прошлая жизнь с бесчисленными кувырканиями представляла немалую прелесть, правда, при условии, что эти кувыркания не затрагивали основ моего существования или существования близких мне людей.

Да, леди и джентльмены, индейцы в Америке еще есть, но дикарей в курортных зонах нет ни одного. Число гостиниц (как и ресторанов) в этой стране умопомрачительное, в каком-нибудь небольшом городке в Аризоне, где я недавно был и путешествие куда и натолкнуло меня на это письмо, их число измеряется десятками. Конечно, и здесь разумно заказать номер заблаговременно, иначе придется платить больше. Платить! Вот тут и пора затронуть экономическую сторону дела.

Какова стоимость, например, авиабилетов? Относительно стоимости еды и одежды — очень высокая. Нельготная стоимость билета из Лансинга в Бостон и обратно около 300 долларов (пресловутые джинсы — от 6 до 30, телевизор цветной, среднего качества — я купил себе недавно такой — те же 300, пол-литра "Столичной" — 7, фунт хорошей колбасы 34 доллара). Я не очень силен в ценах, хоть и каждую неделю хожу за продуктами: экономя время, но не деньги, я провожу там не более 20-30 минут, затрачивая на недельный рацион 40-60 долларов, с сильным акцентом на овощи и фрукты.

Итак, стоимость билета в Бостон и обратно составляет примерно 1/5 моей месячной зарплаты после налогов, которые здесь не менее трети для моего уровня дохода. При оценке экономической стороны путешествий надо учесть все ту же конкуренцию компаний. Благодаря ей, тот же билет в Бостон и обратно может стоить в два раза дешевле. Существует множество льготных рейсов, которые иногда делают полеты в Западную Европу на уровне путешествий в тот же Бостон из Лансинга и даже дешевле. Очень многое зависит от агента "бюро путешествий", которых здесь великое множество. Если он опытный и расположен к тебе, он может так исхитриться, что "сделает" (почти забыл это замечательное слово) тебе билет чуть ли не в два раза дешевле.

Американцы путешествуют всеми видами транспорта. Самые бедные, конечно, на автомашинах, а богатые люди, конечно, предпочитают комбинацию самолета и такси (а также все командировочные: вполне по-советски, когда я еду по приглашению, то уж, конечно, я не беспокоюсь о минимальной стоимости авиабилета и активно пользуюсь такси, которое здесь опять-таки относительно еды и одежды очень дорогое — до моего аэропорта примерно 10 миль, и это стоит примерно 15 долларов — пара джинсов). К моему удивлению, недавно, на конференции в Аризоне, я выяснил, что одна пара прилетела из Мичигана на своем самолете. Они явно небогатые люди, живут, как и я с Любой, в разных городах (конечно, из-за работы). Они решили, что ему удобнее для общения с ней иметь самолет. Как они мне объясняли, самолет стоит примерно столько, сколько средний дом, которого у них и нет. Оказывается, что не так уж мало людей обзаводятся своим собственным летающим средством передвижения.

Одна из самых важных особенностей межгородского транспорта — его безопасность, дикий контраст с внутригородским транспортом в больших городах. Путешествие в метро в Нью-Йорке или Филадельфии вечером, не говоря уже о ночи, — отважное предприятие. Конечно, трудно отделить уже утвердившиеся представления от поведенческих фактов, но так или иначе, спуск в метро вечером дело не простое. Даже днем, двигаясь в Митей в чикагском метро, я себя чувствовал почти ковбоем, не без подозрения разглядывая исподтишка людей с не чисто белой кожей.

В той же Аризоне, где я был недавно, на конференции руководителей опросов всех ведущих университетских центров по изучению общественного мнения (они по уровню, между прочим, намного выше коммерческих, с которыми я познакомился во время экскурсий в Аризоне на одну из таких фирм), — я узнал, что одно из достоинств телефонных опросов, которые теперь играют господствующую роль и оттеснили "персональные интервью" далеко назад, — это то, что они обеспечивают меньший процент отказов, так как американцы все реже и реже пускают "чужаков" к себе в дом.

Удивительно! Казалось бы, — катастрофа для репрезентативности опроса, а тут, смотри, и подросла техника, и какая! (телефонные интервью осуществляются с помощью компьютеров), и проблема как бы решена.

Так вот, как и пригороды, междугородные путешествия в Америке — это совсем другой мир, в корне отличный от мира крупных американских городов. Если последние не только опасны, но и грязны, то вся остальная Америка удивительно чиста и безопасна. Когда катишь в автобусе или машине по стране, просто поражаешься этой немыслимой чистоте. Это на протяжении сотен и сотен километров — полное отсутствие мусора, помоек, трущоб и вообще всего того, что может раздражать взор.

Безопасность в междугородном транспорте характеризуется одним очень чувствительным индикатором — положением женщины.

Сколько раз я наблюдал в моей прошлой жизни приставания к женщинам в разнообразных дорожных ситуациях! Конечно, далеко не все из них были подавлены происходящим и старались избавиться от того, кто оказывал им назойливые знаки внимания. В отличие от ее американской подруги советская женщина, как мне кажется, больше уважает мужскую силу, мужской задор и инициативу. И все-таки не пустил бы я свою дочь одну в длительное путешествие по стране, хотя и понимаю, что ничего бы ужасного с ней не произошло. В американском же автобусе даже самая что ни на есть красивая дама чувствует себя абсолютно комфортно. Никому, абсолютно никому не придет в голову подсесть к ней и начать "закадрение" (не устарел ли этот милый термин?) или каким-либо иным образом выражать ей знаки внимания. Может быть, некоторые из тех, кто путешествовали со мной из Феникса, столицы Аризоны, на Большой Каньон (помните "Золото Маккены"?), были бы очень польщены иным отношением к ним других экскурсантов, не знаю.

Впрочем, как это вообще принято здесь, никто друг с другом не вступал в контакты и никаких "малых групп", которые почти немедленно бы возникли в СССР на основе

разных принципов ("интеллигентности", "выпивки" и т.д.) здесь так и не получилось. Пожалуй, только очень старые люди и представители Азии и Латинской Америки более общительны. Со мной затеял, например, разговор филиппинец, тамошний капиталист, которому я со вкусом ругал его президента и всю тамошнюю систему, основанную на насилии и коррупции. Он все удивлялся, как это я так хорошо разбираюсь в тонкостях его политической системы.

Несколько слов о старухах и стариках. Что ни говорите, но прогресс благосостояния в любой стране мира меньше всего сказывается на тех, кому он обязан — мужчинах. Больше всего выигрывают от него дети, потом женщины и, наконец, старики. Мужчинам же здесь, как и всюду, достается в общем немного. Так вот, старики в этой стране составляют огромную долю путешествующих, как внутри страны, так и за ее пределами. Может быть, это у меня остаточное влияние другого образа жизни, но и здесь, мне кажется, что они как бы берут реванш за ушедшие годы. Все они очень активны и, как я уже писал, абсолютно лишены всяких старческих комплексов.

В автобусе со мной путешествовала пара, которая бы в моей прошлой жизни вызвала на общественном транспорте массу пожеланий (не все были бы высказаны в предельно корректной форме) не загромождать салоны автобусов или метро своим недопустимо дряхлым видом. Так и хочется привести всем известные тексты этих пожеланий. Конечно, ничего подобного я не услышал. Однако в голове так и мелькали соответствующие слова: "вот сейчас рассыпятся", "сидели бы дома" и т.п. и т.д.

Путешествие по Америке заставило меня еще раз поразмышлять на темы равенства и привилегий. В автобусе, в котором я двигался к Каньону, были явно люди всех уровней благосостояния, кроме самого низшего (и поэтому здесь не было черных). Уровень благосостояния здесь резко различный, хотя на вопрос, где неравенства больше, я затрудняюсь ответить, уж больно много факторов влияют на ответ, меж тем вопрос чрезвычайно интересный и многоплановый.

Меня лично, например, показное богатство возмущает, даже не знаю толком, почему, ибо имеется много как бы доводов типа: "а почему нет", "если в первом поколении" или "а ведь без наследственного фактора и растащить недолго". Но это все эмоционально для меня не очень убедительно и я, конечно, желаю Миттерану успехов в его экономической политике и резко расхожусь с поклонниками Милтона Фридмана, — главного теоретика неограниченного господства рыночного механизма со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями. Но так или иначе, я не понимал, как это можно во время депрессии устраивать в столице пышные приемы с широким освещением этого в печати. Может быть, я привык к иному стилю жизни начальства?

Однако при всех моих сомнениях или, скорее, сумятице в голове насчет реальных проблем равенства, я все-таки предпочитаю, чтобы на Земле было больше социального равенства. Интересно, однако, что ни в шестидесятые, самые замечательные годы, ни в следующем десятилетии среди тысячи проблем, обсуждаемых нами, проблеме равенства не нашлось места — той проблеме, которая является главной для местных либералов, которые в свою очередь склонны недооценивать то, что имеют в другой сфере.

Путешествия по Америке заставили меня также еще раз задуматься над разнообразием. Вообще я, как уже вам известно, очень плохо воспринимаю все, что связано с внешними, изобразительными, проявлениями человеческого гения. Поэтому я плохой рассказчик о местной архитектуре. И все-таки я могу рискнуть поделиться некоторыми незрелыми размышлениями.

Америка знает свои "Черемушки": великое множество небольших американских городов похожи друг на друга как две капли воды. Все чистенькие, ухоженные и внешне очень скучные, ничего общего с Козельсками, Тарусами или Вольсками Саратовской губернии с их очевидной неблагоустроенностью.

Мысль о том, что надо было бы жить в одном из таких городишек — ужасает. Апдайк недавно описал жизнь средне-

го американца в таком городе на рубеже двух последних десятилетий в своем романе "Кролик богат" (кстати, в ЛГ был вполне разумный обзор последних американских новинок, включая и этот роман).

Герой, за плечами которого был яркий период в конце шестидесятых, ведет смертельно однообразную жизнь. В этой жизни он — владелец небольшой фирмы по продаже машин — не притрагивается к культуре, а мысль его вращается между двумя полюсами: секс (ему сорок) и деньги.

Самое забавное, когда обе страсти объединяются в его сознании, что происходит, когда он "делает любовь со своей женой" (make love to... — нет русского эквивалента этой замечательной паре слов, ибо уж конечно нецензурное четырехбуквенное выражение никакого отношения к этому не имеет) и когда ощущение благосостояния явно усиливает его сексуальную активность, а ею он озабочен все более и более. Апдайк в общем беспощаден к своему старинному герою, наверное, гораздо больше, чем в романе "Кролик бежит" и других. (Кстати, я все еще поражаюсь, как мало профессора и студенты следят за современной американской беллетристикой. Считанное число из них когда-либо читали Апдайка. Поэтому одна моя здешняя знакомая, сильно непохожая на большинство своим острым интересом к культуре, чуть не умерла со смеху, когда я ей рассказал, что в последнем советском фильме "Невеста для Гаврилова", в общем более чем посредственном, школьница, видимо, восьмого или девятого класса, строго упрекает мать — простую служащую фотостудии, — что она отстает от культурной жизни и задает ей вопрос: "А вот, например, читала ты последний роман Апдайка?")

Однако вернемся опять к моим разъездам по стране. Однообразие американской провинции резко меняется, когда в дело вступает этнический фактор. Так, Аризона меня восхитила (даже меня) своей архитектурой, необычайно интересными постройками. А почему? Влияние Мексики и соответственно Испании. То же происходит всюду, где дает себя знать культура этнических меньшинств. Интересно, что если в

прошлом я видел, как этнический фактор стимулируется государством или же соответствующими политическими течениями, то здесь, это коммерция, которая тщательно следит за тем, чтобы ничто из набора этнических ценностей не было утеряно, ибо это резко усиливает разнообразие рынка. Вот пример. Американцы прямо помешаны на кушаньях в национальных ресторанах. Конечно, китайские рестораны — впереди, но еще, по-моему, и потому, что они самые дешевые. Но даже я уже побывал в итальянских, греческих, русских, мексиканских и других ресторанах. А в Аризоне я был даже в тайландском.

Здесь я эксперт — еще хуже, чем в архитектуре. Я по-прежнему на вопрос, что ты бы хотел съесть, отвечаю — вареники с вишнями. Дальше моя фантазия не идет, и я утешаюсь только мыслью, что еда, вероятно, один из самых сильных элементов культуры и подвергается изменению меньше, чем другие (неудивительно, что в каждом большом городе есть русские продовольственные магазины с лучшими советскими изделиями, и Люба регулярно туда отправляется, особенно, если ожидаются гости, в том числе американцы, которым хочется доказать "наше" преимущество в еде).

Конечно, в поездках моя любимая парадигма — универсальное и специфическое — никогда меня не оставляет в покое. Очень много похожего можно обнаружить, осматривая разные уголки Америки. Ну, например, местный патриотизм, точно такой, как где бы то ни было. Гиды те же — правда, здесь они одновременно и водители. Точно так же надо собирать документы для оплаты командировки и т.д.

И последнее. Аризона еще раз напомнила мне эмоционально, что Америка — молодая страна. Еще двести-сто лет назад там жили индейцы, а по отношению к ним все этнические группы (в том числе и моя) в одинаковом положении. Хотя, конечно, есть место на Земле, где эта проблема для моей группы вообще сведена к нулю.

Привет. Володя

Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее семью глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, room 511—A
New York, New York 10017

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПРОТИВОБОРСТВО: США — СССР

Интервью Бориса Шрагина с директором Русского исследовательского центра при Гарвардском университете, историком, профессором Адамом Уламом

Адам Улам родился в 1922 году во Львове, который входил тогда в состав Польши. В 1939 году он переехал в Соединенные Штаты. Здесь, в Браунском университете он изучал русскую историю и политологию, а затем в 1947 году защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете. Вся дальнейшая исследовательская и преподавательская деятельность профессора Улама связана с этим университетом, с его Русским исследовательским центром, где он директорствовал с 1973 года по 1976, и в 1980 году снова занял эту должность.

Перу Адама Улама принадлежит 14 книг — большинство из них по политической истории Советского Союза. Наиболее известны — объемистая биография Сталина, "История советской России", книга "Большевики", которая представляет собой историю Коммунистической партии Советского Союза; его перу принадлежит и труд по истории американо-советских отношений, начиная с Тегеранской и Ялтинской конференций. Пишет Адам Улам легко, остро, оперируя огромным факти-

ческим материалом. Я встретился с профессором Уламом в Гарвардском университете, и он согласился побеседовать о своих работах, посвященных прошлому, настоящему и будущему американско-советских отношений.

Ш р а г и н. Я знаю, что вы недавно закончили новую книгу. Как она называется и чему она посвящена?

У л а м. Насчет названия я еще не решил. В книге рассматриваются советско-американские отношения между 70-м и 82-м годом, между началом так называемого "детанта" и сегодняшним днем. Она продолжает две мои предыдущие работы. Но в каком-то смысле она и отличается от них, поскольку многое изменилось в мире, изменились методы советской внешней политики. Советский Союз стал гораздо более могущественен в военном отношении, но, с другой стороны, стал слабее политически, социально и экономически.

Ш р а г и н. На меня произвела очень сильное впечатление ваша книга "Противники", в которой, скрупулезно анализируя события, вы показали, как в послевоенный период американцы терпели очень серьезные дипломатические поражения. Чем это объясняется, с вашей точки зрения?

У л а м. Я думаю, главная причина в том, что Соединенные Штаты — вопреки тому, что говорят наши советские друзья — вовсе не империалистическая страна. Трудности в отношениях с Советским Союзом в значительной мере связаны именно с этим. Вторая причина в том, что для демократии — при обстоятельствах, которые сложились после второй мировой войны, когда пришлось иметь дело с такого рода внешней политикой, какая ведется Советским Союзом, — крайне трудно развивать с ним дипломатические отношения даже при самом хорошем руководстве. Но значительную часть этого периода наша внешняя политика проводилась людьми, которые знали о Советском Союзе не очень много. И даже если они располагали советами специалистов, они все же были обречены на непонимание и самого советского государства, и его руководителей. К сожалению, мы сделали очень много ошибок и позволили Советскому Союзу добиться значительных успехов.

Ш р а г и н. Являются ли эти успехи только результатом слабости американской дипломатии или одновременно они свидетельствуют об умелости и искусстве советской дипломатии?

У л а м. Я не принадлежу к числу тех людей, которые склонны воспринимать в негативном свете все аспекты советского общества (как, например, Солженицын) и в то же время видят в советской внешней политике одни блестящие успехи. Я думаю, это — все-таки преувеличение. В ряде случаев советская внешняя политика вовсе не была такой блестящей, как думают многие. Но это правда, конечно, что в определенные периоды, скажем, после войны, наша страна — Соединенные Штаты — была несравненно могущественнее Советского Союза. Не говоря уже о монополии на атомную бомбу, мы производили тогда больше половины всей мировой продукции. Но именно тогда, при величайшем американском превосходстве, Советский Союз осуществил буквально все, что хотел — захватил Восточную Европу и, нарушив данные прежде обещания, установил там коммунистические режимы. Так что мы должны признать, что понимание Сталиным психологии американцев было очень верным. Мы должны признать за ним большое дипломатическое искусство. Конечно, он был весьма неуравновешенным человеком, параноиком. Но, когда дело касалось внешней политики, он обыгрывал почти всех.

Ш р а г и н. А что можно сказать о наследниках Сталина — Хрущеве, а затем Брежнев?

У л а м. Хрущев, я думаю, во многих случаях был слишком поверхностен и импульсивен. Его бывшие сотрудники, а теперь наследники, вероятно, правы, обвиняя его в волюнтаризме. вспомните хотя бы Карибский кризис. Брежнев и его коллеги были гораздо осторожнее. Я не думаю, что они добивались таких же успехов в отношениях с Соединенными Штатами, каких добивался Сталин, но и им удалось во многих пунктах опять-таки перехитрить американцев.

Ш р а г и н. Одна из слабых сторон американцев, как вы считаете, — это плохое понимание ими Советского Союза. Что же вы думаете, советская сторона лучше понимает американцев?

У л а м. В целом, если говорить о внешней политике, — да, лучше. Конечно, их понимание американской психологии весьма ограничено. Но у советской стороны есть такие люди, как Громыко, который занимается американскими проблемами с 1937 года. Он был советским послом в Америке с 1945 года, министром иностранных дел — с 1956. И, будучи достаточно посредственным человеком (я не думаю, что он дипломатический гений), он, тем не менее, обладает огромным опытом. Он знает практически все об американских настроениях и возможностях во внешней политике.

Ш р а г и н. В своей новой книге вы попытались обобщить опыт, накопленный уже после публикации ваших предыдущих работ. Какие новые выводы сделаны вами?

У л а м. Я думаю, переменялось — и существенно — вот что: продолжая во многих отношениях обыгрывать американцев и вообще Запад, Советское правительство испытывает большие трудности и несет урон из-за врожденных внутренних особенностей коммунизма и советской системы.. Самой серьезной и долговременной угрозой для Советского Союза — и с этим, вероятно, согласятся все — оказалась другая коммунистическая страна, созданию которой он же сам и способствовал, то есть Китай. Другим источником слабости Советского Союза стали опять таки им же самим созданные коммунистические режимы Восточной Европы. Вместо того чтобы следовать примеру Финляндии, которая остается в фарватере советской политики и в то же время не отягощает Советский Союз своими внутренними проблемами, страны Восточной Европы ставят его перед все большими и большими трудностями — экономическим, политическими и военными. Польша, например, стала для СССР более тяжелой обузой, чем она была для царской России.

Ш р а г и н. Я вспоминаю другого западного исследователя — Исаака Дойчера, который, как и вы, написал биографию Сталина. Исаак Дойчер считал, что, когда Сталин захватывал Восточную Европу (и делал это дипломатически и политически очень ловко) в свете исторической перспективы он совершал непоправимую ошибку, ибо, по его мнению, Восточная

Европа неизбежно должна была превратиться в источник кризиса всей советской системы. А что думаете вы, профессор, по этому поводу?

У л а м. Пожалуй, на этот вопрос очень трудно ответить. Слабость американской дипломатии позволила Сталину легко продвинуться в Восточной Европе. Его политическая философия состояла в том, чтобы хватать все, что можно схватить, к чему бы это в конечном счете ни привело. Эта же философия определяет советскую внешнюю политику и до сих пор. Поэтому сам Сталин был абсолютно убежден, что, захватывая Восточную Европу, навязывая ей коммунистические режимы, он поступает единственно правильным образом. Вероятно, более разумно было бы с точки зрения советских интересов предоставить народам Восточной Европы автономию. Но в тот исторический момент казалось, что политика Сталина принесла огромный успех Советскому Союзу и гигантское поражение Западу.

Ш р а г и н. Какие еще трудности, по вашему мнению, переживает современная внешняя политика Советского Союза?

У л а м. Часть этих трудностей определяется тем фактом, что за последние годы советская власть не может похвастать какими-либо внутренними успехами. Замедляется экономический рост. Медленно растет уровень жизни. Население теперь лучше осведомлено о положении в других странах. Оно знает, что даже в странах Восточной Европы уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. Единственное, что остается сознательным или подсознательным оправданием советской системы, советских политических форм, — это военное могущество. Запад живет свободнее и богаче, но он как будто бы клонится к упадку. А мощь Советского Союза растет. Растет и страх Запада перед этой мощью. Так, по крайней мере, должно думать советское население. К сожалению, все это становится единственным средством оправдания или, как говорят политологи, "легитимизации" советской власти как таковой. Помимо этого, у нее нет ничего, чем можно было бы похвастать.

Ш р а г и н. Как по-вашему, коренится ли экспансионизм в самой сути советской системы?

У л а м. Я думаю, что в общем и целом это проистекает из существа советской системы в ее современной форме. Некоторые считают, что эта агрессивность гораздо старше советской системы и возводят ее ко времени царизма. Но это уже другой вопрос. Последние пятнадцать-двадцать лет мы наблюдаем весьма интересное явление, когда советская политика не просто стремится к экспансии, но старается нанести ущерб Западу даже тогда, когда это не приносит Советскому Союзу никаких конкретных выгод. Например, на Ближнем Востоке они просто стараются дестабилизировать положение, что не дает ничего ни советскому народу, ни даже советскому режиму.

Ш р а г и н. Но тогда, может быть, не просто экспансия, а внесение дестабилизации в современный мир составляет сегодняшний смысл советской внешней политики?

У л а м. Совершенно верно. Иногда советские политики так увлекаются созданием трудностей для Запада, что забывают о собственных интересах, не говоря уже об интересах советского народа. Опять-таки — лучший пример Ближний Восток. Снабжать оружием таких ненадежных советских партнеров, как Сирия, — дорого и опасно, поскольку это лишь обостряет международную обстановку. И все-таки советское правительство последовательно держится своей политики создания все новых и новых конфликтов.

Ш р а г и н. Но это очень опасная политика! Она может привести к такой ситуации, которая не будет уже подконтрольна ни советскому правительству, ни кому бы то ни было.

У л а м. К сожалению, это и оказалось выводом моей новой книги. Ситуация становится все более опасной в том смысле, что во внешней политике отказывают тормоза. Я думаю, другое классическое проявление той же тенденции (может быть, совсем в ином смысле) мы наблюдаем в Афганистане. До 1979 года Советский Союз имел очень хорошие отношения с некоммунистическим режимом, который существовал в этой стране. И именно этого должен был бы хотеть Советский Союз. Но, когда появилась возможность, он не удержался устроить там коммунистический переворот. А когда новый ре-

жим в Кабуле оказался неустойчив, Советский Союз уже вынужден был вмешаться, ибо невозможно было позволить, чтобы дружественный коммунистический режим был просто свергнут, и таким образом Советский Союз поставил себя перед необходимостью совершенно бесполезного с точки зрения реальной политики, дорогостоящего и чреватого опасностями вмешательства. При таком стиле советской политики нужно, к сожалению, признать, что мы вступили в очень опасный период.

Ш р а г и н. Я думаю, что именно поэтому на дипломатию Запада ложится особая ответственность. Как вы оцениваете возможности Запада в этом смысле?

У л а м. Я думаю, что за последние годы в американской внешней политике появились некоторые обнадеживающие признаки. Отношение к СССР постепенно утрачивает черты наивности. (Я думаю, вы помните, как президент Картер после вторжения СССР в Афганистан заявил, что теперь он многому научился и многое уяснил себе в отношении политики советского правительства — и это было сказано буквально в последние дни его президентства, то есть по истечении четырех лет! Так вот, я полагаю, что подобных высказываний сейчас уже никто не сделает.) Чтобы в мире восстановилось равновесие, я думаю, еще многое предстоит сделать. Но для этого необходима большая степень единства западного мира, сотрудничество США и Западной Европы, ибо цель Советского Союза как раз и состоит в стремлении отделить страны Западной Европы и друг от друга и от Соединенных Штатов, извлекая при этом как можно больше экономических выгод. Говоря грубо, цель Советского Союза — запугать Запад. И прежде чем надеяться на лучшее будущее, необходимо не дать Советскому Союзу преуспеть в этой цели.



Гордон БРУК-ШЕФЕРД

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

В ближайшее время выходит:

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги - 15 долларов. При предварительном заказе - 12 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We

475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Главы из книги

ГЕОРГИЙ АГАБЕКОВ — ШЕКСПИРОВСКИЙ ГЕРОЙ

По иронии судьбы — так, по крайней мере, мог расценивать эту ситуацию Бажанов,* — следующим после него советским перебежчиком, появившимся в Париже, был не кто иной, как Георгий Агабеков, прибывший сюда 26 июня 1930 года из Марселя. Это был тот самый чекист, который, возглавляя агентуру ОГПУ в Персии, двумя годами ранее координировал меры по "обезвреживанию" Бажанова. Спустя каких-нибудь восемнадцать месяцев Агабеков сам оказался в числе перебежчиков.

Хотя каждый из них довольно быстро узнал о присутствии другого в Париже, вначале они конфузливо "кружились" вокруг друг друга, подобно чайкам в чашке чая. Но их явно

* Побегу Бажанова посвящена первая глава книги Гордона Брук-Шеферда.

притягивало друг к другу, как магнитом, и постепенно любопытство взяло верх над вполне понятной настороженностью. В конце лета они встретились у общих знакомых.

Агабеков произвел на Бажанова почти отталкивающее впечатление: "Появилась безобразная юркая личность, невзрачная, с физиономией преступника, — вспоминал впоследствии Бажанов. — Глаза его рыскали по сторонам, казалось, они ощупывают поочередно все углы комнаты, точно проверяя, нет ли там ловушки".

Они беседовали всего около двадцати минут. Тема была как нельзя более важной и интересной для обоих. Агабеков рассказал, что в "тот самый день" — накануне Нового 1928 года, когда ему предстояло отправиться "по долгу службы" на крайний юг Персии, из Москвы была получена срочная телеграмма с сообщением о побеге Бажанова. Бажанов узнал от Агабекова, что именно последний возглавлял охоту на него в Мешхеде. Он узнал и другие подробности: группа из шести специально обученных террористов-убийц, завербованная среди местного населения, была заброшена в северную Персию, в помощь действовавшим там агентам ОГПУ. В дальнейшем, когда Бажанов находился под персидской охраной в полицейском управлении в Мешхеде, была сделана попытка отравить его цианистым калием, подмешанным в пищу.

Выяснилось также, что с ведома и санкции Сталина советским дипломатическим органам в Тегеране было предписано идти на любые уступки Персии в обмен на выдачу беглеца. Эти уступки касались спорных пограничных территорий, помощи Советов в разведке нефтяных месторождений на территории Персии и даже вечного спора о зонах рыбной ловли в Каспийском море. Кремль был настолько уверен, что Персию соблазнят его обещания, что Агабекову в какой-то момент было приказано повременить с убийством Бажанова. Приказ о "ликвидации" беглеца вновь вступил в силу на заключительном этапе побега Бажанова из Дуздапа, но было уже поздно: в его судьбу вмешался британский консул.

Слушая весь этот рассказ Агабекова в парижской гостинице, Бажанов вновь и вновь мысленно переживал все творив-

шееся вокруг него в Персии и в который раз поражался, как это ему удалось сохранить голову.

Однако Агабеков представляет для нас интерес не только потому, что именно он преследовал в "своей зоне" бывшего секретаря Сталина, а в силу необычайно фантастической истории своего собственного побега. Сам он заявлял, что причиной его бегства на Запад был очевидный "крах дела коммунизма" в советской России — крах, о котором ярко свидетельствовал повальный голод в деревне.* На самом деле причина его побега была наиболее невероятной из всех, какие только можно вообразить. Не будем забывать, что речь идет о крупном деятеле ОГПУ. Уместно напомнить еще и о том, что его внешность была столь же малопривлекательна, как и его профессия.

Так вот, как это ни покажется невероятным, агент сталинской секретной службы бежал на Запад, так как, подобно мальчишке, влюбился в совсем еще юную девушку-англичанку из сравнительно небогатой семьи. В свою очередь и она, несмотря на значительную разницу в возрасте, происхождение и политические взгляды, столь же безумно влюбилась в советского резидента.

Роман между Георгием Агабековым и Изабель Стретер без преувеличения можно назвать поразительной и трагической любовной историей, едва ли не достойной пера Шекспира. Достоверные и многочисленные свидетельства этого необыкновенного романа, сохранились не где-нибудь, а в государственных архивах ряда стран. Страсть, охватившая этих столь непохожих и, казалось бы, мало подходивших друг другу людей, связавшая воедино их судьбы, ощутима даже при чтении архивных бумаг с их сухим, бюрократическим стилем.

История эта началась 27 октября 1929 года, когда из Одессы в Стамбул прибыл советский пароход "Чичерин". Среди

* См. книгу Агабекова "The Russian Secret Terror", p.246-267. Помимо этой явной передержки, в книге немало других фактических ошибок. Так, свой приезд в Париж Агабеков датирует январем 1930 года, в то время как данные полиции свидетельствуют, что это событие произошло в июне того же года.

пассажиров, сошедших на турецкий берег, был армянин с желтушным цветом лица, зарегистрировавшийся по прибытии под именем Нерсес Овсепян. Его настоящая фамилия, по видимому, была Арутюнов, однако в Персии, как стало известно в дальнейшем, он жил под именем Георгия Агабекова.* Теперь он был назначен в Стамбул на ту же должность, какую занимал до этого в Тегеране, а именно — главы действовавшей здесь сети ОГПУ.**

На этом посту в Турции Агабеков, как мы станем его впредь называть, сменил небезызвестного Якова Блюмкина, чья короткая и бурная карьера в ОГПУ завершилась тем, что его расстреляли "свои" же чекисты. Любопытно, что как Блюмкин, так и Агабеков (оба — "специалисты" высокого класса) не только занимали последовательно один и тот же пост, но и получили одно и то же сталинское распоряжение ликвидировать сбежавшего Бажанова.

Кстати, за год до назначения в Турцию Агабеков был вызван к Трилиссеру, возглавлявшему тогда Иностранное управление ОГПУ, и ему было приказано убрать пребывавшего в Париже Беседовского. "Дипломата-предателя, — заявил Трилиссер, — необходимо уничтожить любой ценой, так как уже появились признаки того, что его пример может оказаться заразительным".

Правда, на другой же день Агабекова вызвали снова и сообщили, что приказ отменяется: Политбюро решило, что попытка убрать предателя Беседовского принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому Агабеков, он же Овсепян, был переброшен в Стамбул. Официальным прикрытием этого нелегального агента ОГПУ должно было стать место управляющего фирмой по продаже велосипедов и пишущих машинок.

* После побега он стал именовать себя на французский манер — Жоржем.

** Речь идет о сети, параллельной "легальной" шпионской агентуре, которая оперирует под дипломатическим прикрытием, то есть под видом советского дипломатического или внешнеторгового персонала. Известны случаи, когда обе сети — "легальная" и нелегальная — вступали в явное соперничество друг с другом.

За невинной вывеской такой торговой фирмы скрывалось гнездо шпионажа, который охватывал по существу весь Ближний Восток. Что бы ни говорил Агабеков несколько позже о своих "расхождениях" с начальством, не подлежит сомнению, что, отбывая из Одессы, он пользовался в его глазах абсолютным доверием. В сферу его "службы" входили Сирия, Палестина, Египет и в первую очередь сама Турция, за исключением Стамбула, где под крышей советской дипломатической миссии действовала "легальная" агентура ОГПУ.

Агабекову было поручено провести на этой территории ряд деликатных и в то же время важных операций. Например, в Дамаске в его задачу входило пощупать возможности создания крупного просоветского (!) арабского государства, объединяющего сирийцев и их соседей. Для осуществления этой цели предстояло добиться раскола правящей партии Египта. А затем из ее бывших членов создать левую группировку, достаточно радикальную, для того, чтобы вступить в коалицию с египетскими коммунистами. Ежемесячные дотации на эти цели уже поступали из Берлина — основного финансового центра ОГПУ, субсидировавшего операции в Западной Европе и странах арабского мира.

Относительно британской администрации в Каире Агабеков получил те же инструкции, что давались до него Блюмкину. Ему было сказано: не тратьте время, пытайтесь проникнуть в круги, близкие к этой администрации. Это достигнуто силами других отделов ОГПУ.

Москва уже не первый год регулярно получала копии докладов, посылавшихся из Каира в Лондон. Да и вообще задачей Агабекова был не столько шпионаж, сколько разработка планов подрывной деятельности в таком широком масштабе, чтобы ослабить в этом районе земного шара влияние Англии и Франции.

О, если б Москва знала, что вся эта глубоко продуманная конспирация (а вместе с ней и все эти амбициозные планы) внезапно лопнут! И притом из-за такого пустячного факта, как объявление, которое Агабеков поместил в стамбульских газетах вскоре после своего приезда. В объявлении, подпи-

санном псевдонимом, говорилось всего-навсего о том, что его автор ищет преподавателя английского языка.*

Сейчас невозможно установить, стоял ли за этим объявлением коммерсант Овсепян, действительно стремившийся изучить английский язык, или же агент ОГПУ Агабеков, целью которого было наведение "полезных контактов" в среде английской колонии Стамбула. Да это не так уж и существенно. Важно другое: на объявление откликнулась некая Изабель Стретер, и это полностью изменило судьбу Агабекова-Овсепяна.

Мисс Стретер была младшей дочерью английского чиновника, который работал в стамбульской конторе британской паровой компании. Семья Стретеров была почти классической семьей бизнесмена средней руки — то есть небогатой и ничем не примечательной. Стретеры были уважаемыми и патриотичными. Они заслуженно пользовались незапятнанной репутацией даже в то время, когда торговля вовсе не считалась идеальным занятием для джентльмена. Нетрудно представить, сколь ужасен был удар, постигший ничего не подозревавшую семью,** в самом конце 1930 года, на Рождество, вдруг открылось, что их двадцатилетняя дочь вступила в связь со своим 34-летним учеником, — фактически потеряла из-за него голову.

До знакомства со своим будущим возлюбленным Изабель производила впечатление приятной, скромной девушки, даже, пожалуй, чересчур робкой и застенчивой для своего возраста. Встреча с таким во-восточному темпераментным и вместе с тем несколько загадочным человеком, как Агабе-

* Он действительно искал для себя такого преподавателя, узнавая, где бы его раздобыть, также через свою квартирную хозяйку.

** Этот шок давал себя знать даже полвека спустя. Единственный из семьи Стретеров, кто остался в живых к середине 70-х годов и кого удалось разыскать, — это младший брат Изабель. В декабре 1976 года он заявил автору этих строк, что даже теперь, по прошествии стольких лет, не может вдаваться в обсуждение "этого трагического романа" своей сестры. Будучи в то время подростком, он знал об этой истории не так уж много, но родители запретили ему даже касаться этой темы.

ков, круто изменила ее характер. Когда родители отчаянно пытались разрушить эту связь, она проявила удивительную стойкость. Родителям помогала ее старшая сестра Сибил — сотрудница английского посольства (Изабель временно работала там же машинисткой), однако и это ни к чему не привело.

Никто в семье не мог всерьез поверить, что безобразный Агабеков мог так глубоко и искренне полюбить Изабель. Между тем роман, начинавшийся как легкий флирт, вскоре сделался единственным смыслом его жизни. Впрочем, трудно сказать, только ли эта страсть привела его к решению порвать с ОГПУ — а тем самым и со своей родиной. Как бы скептически ни относились мы к его рассказам, что он, дескать, внезапно почувствовал отвращение к большевикам, — некоторые косвенные признаки позволяют считать, что у него действительно могли возникнуть сомнения относительно своей дальнейшей карьеры. Двух-трех ближайших коллег Агабекова неожиданно понизили в должности или уволили в отставку, и это, естественно, вызвало у него чувство неуверенности, хотя еще и не страха за собственную жизнь.

Кульминационный пункт этой истории относится к 15 января 1931 года. В Стамбул прибыл советский пароход, на котором Агабеков мог вернуться домой. По-видимому, официально его не вызывали в Москву, но ему самому не вредно было бы выяснить, какова там ситуация. И именно в этот день он решил открыться Изабель, объявив ей, кто он такой и какого рода деятельностью занимается. Как он поступит потом, зависело от реакции Изабель. Если б она в ужасе отшатнулась, узнав, что ее любовник — один из руководителей советской секретной службы за рубежом, на совести которого были даже убийства, то, наверное, он отправился бы в Москву. Но Изабель, очевидно, выдержала испытание, так как пароход ушел обратно в СССР без Агабекова. А тот вскоре обратился к английским властям в Стамбуле с просьбой предоставить ему политическое убежище. Ведь он обещал Изабель, что, если она останется с ним, он уедет на Запад, женится на ней и, порвав с Москвой, начнет новую жизнь.

Все, однако, оказалось гораздо сложнее, чем ожидал Агабеков. Не зная, так сказать, "черного хода" в британскую разведывательную службу (который в подобных случаях является главным входом), он постучался в "парадную дверь": обратился к военному атташе британского посольства.

Назвав свое настоящее имя и должность, Агабеков заявил, что не обещает предоставить англичанам всесторонней информации, но, во всяком случае, готов раскрыть методы, используемые ОГПУ для перехвата корреспонденции, которой обмениваются Министерство иностранных дел Великобритании и британские посольства и миссии на Ближнем Востоке. Военный атташе вежливо ответил, что лично он не интересуется такого рода информацией, так как состоит на службе в военном ведомстве. Впрочем, он готов передать это предложение тем, кого оно может заинтересовать. На том все и кончилось. Выждав несколько недель, Агабеков попытался ткнуть в другую дверь и сделал то же предложение сотруднику английского консульства в Стамбуле Роджерсу. И снова шло драгоценное время, а никакого ответа не поступало.

Только спустя три месяца после разговора с военным атташе Агабеков почувствовал какой-то интерес к себе со стороны англичан. Его попросили написать автобиографию и привести в ней свой послужной список, вплоть до последней должности — главы нелегальной сети ОГПУ, оперирующей на Ближнем Востоке. Подготовив такой документ, Агабеков в конце приписал:

"По причинам личного характера я не намерен возвращаться в Россию... Обращаясь к вам, я снова подтверждаю, что готов выехать в Лондон или в любое другое место, которое вы установите, для окончательных переговоров. Если же в конечном счете выяснится, что вы не заинтересованы в моих услугах, я буду просить только оплатить мне расходы по переезду. Остаюсь в ожидании ответа

Н.Овсебян".

Однако ответа опять не последовало. Англичанам все еще было неясно, действительно ли они имеют дело с агентом высокого класса, который решил сменить хозяина и рассказать все, что ему известно, или же перед ними — провока-

тор, которого русские хотят внедрить в систему британской разведки. Или более того — это просто авантюрист, рассчитывающий на простаков. Хотя Агабеков в своем письме даже не упомянул имени Изабель Стретер, англичане узнали об этой связи и сделали поверхностный, а значит, ложный вывод. Исключая заранее всякую возможность действительной любви, они решили, что Агабеков ухаживает за Изабель лишь для того, чтобы получить доступ к секретным документам, с которыми она и ее сестра ежедневно имели дело в английском посольстве)

Миновала зима и весна, наступило лето. Лондон не проявлял к Агабекову ни малейшего интереса, и тот оказался в весьма затруднительном положении. Задуманный влюбленными план шел явно насмарку. Едва ли Агабеков мог начать новую жизнь с Изабель, если его самого Англия не принимала всерьез. Что до самой Изабель, то семья начала охранять ее с той тщательностью, с какой могли охраняться лишь драгоценности короны. Ее даже запирали иногда в квартире, никуда не выпускали — вообще делалось все, чтобы разрушить эту странную связь. Пока что Изабель держалась стойко, но можно ли было положиться на молодую неопытную девушку? Можно ли было рассчитывать, что она выдержит все это и впредь? В отчаянии Агабеков решил попытаться бежать не на Запад, а... на Дальний Восток. Он задумал отправиться в это опасное путешествие с фальшивым персидским паспортом, прихватив с собой свою возлюбленную.

Однако семья Стретеров опередила его. Родители Изабель, полагая, что роман прервется сам собой, если услать дочь куда-нибудь подальше, решили отправить ее к старшей сестре, во Францию. Джойс была замужем за неким Чарльзом Ли, жила в Сен-Жермене под Парижем и была рада помочь в разрешении семейного кризиса. Младшую сестру ожидали в Париже в воскресенье, 22 июня 1930 года.

Но родители недооценили чувства, связывающего их дочь и Агабекова. Они и понятия не имели, что влюбленным удавалось поддерживать связь друг с другом, несмотря на строжайшие меры предосторожности, принятые семьей Стретеров. Как только Изабель сообщила Агабекову о своем вы-

нужденном отъезде во Францию, он тотчас перестроил и свои планы. Он, собственно, давно мечтал побывать в Париже и встретиться со своим бывшим коллегой Беседовским, побег которого на Запад вызвал около года назад такой шум. Теперь Агабеков готов был поселиться там навсегда и начать новую жизнь с Изабель во Франции. А там пусть англичане хоть навсегда забудут о нем!

В вагоне восточного экспресса Изабель Стретер тайно увозила с собой в Париж рукопись мемуаров Агабекова, которые он рассчитывал там опубликовать. Он снабдил ее также приличной суммой денег — 200 фунтов стерлингов, вырученных, по его словам, от продажи велосипедов и пишущих машинок. Сам Агабеков отбыл из Стамбула морем в тот же день, когда Изабель уехала поездом. Он прибыл в Париж — через Марсель — спустя четыре дня после нее и немедленно направился в дом ее сестры на Рю де Лорен в Сен-Жерменском предместье.

Начиная с этого момента в ход событий невольно пришлось включиться английскому правительству. Правда, вначале супруги Ли пытались сами овладеть положением — они, разумеется, не позволили Агабекову забрать Изабель из своего дома.

Мистер Ли в прошлом работал в представительстве Лиги Наций в Стамбуле (где, по-видимому, и встретил свою будущую жену). Но был у него не только этот, как бы дипломатический опыт. Чарльз Ли был еще и лейтенантом английской армии, — но, конечно, при всем этом он не мог противостоять Агабекову, который уже в двадцать шесть лет возглавлял акцию по уничтожению вооруженного отряда самого Энвер-паши в горах и пустынях советской Средней Азии.

Агабеков раскрыл Чарльзу Ли свое настоящее имя и рассказал, кем он является в действительности. Однако эффект оказался противоположным ожидаемому. Узнав, что перед ним крупный деятель ОГПУ, мистер Ли стал искать официальной поддержки. Он позвонил сначала мистеру Фопабиде*, руководителю политического отдела французской контрразведки, затем в консульский отдел британского посольства в Париже, который, как он полагал, связан с "Интеллидженс сервис".

*Точнее - Биде-Фопа (Д.Т.)

Агабеков парировал эти "происки", нанеся семейству Ли очередной визит в сопровождении французского детектива. Он сказал, что французские власти проявили к нему должное внимание как к крупному политическому деятелю, попросившему убежища, и вот теперь, как видите, обеспечивают даже личной охраной.

Продемонстрировав, таким образом, свою политическую благонадежность, Агабеков попытался заинтересовать Чарльза Ли деловым предложением. Не захочет ли мистер Ли заняться его рукописью, которую Изабель привезла в Париж, и начать переговоры относительно ее публикации в Лондоне? В таком случае доля мистера Ли составит тысячу фунтов стерлингов — двадцать процентов комиссионных от 5 тысяч фунтов. Этой суммой Агабеков оценил свои мемуары, и эту сумму он хотел бы получить по возможности безотлагательно.

Чарльз Ли с негодованием отверг это предложение. Он вообще не хотел иметь дела с этим подозрительным субъектом. Только накануне он заставил Изабель забрать из банка 150 фунтов стерлингов, которые Агабеков положил на ее счет, и отдал эти деньги Агабекову в ее присутствии. Придя к выводу, что подкупить парижских наставников Изабель невозможно, Агабеков в тяжелом настроении удалился. Но он отнюдь не собирался оставить их в покое и предупредил, что еще вернется.

Ситуация становилась невыносимой. 2 июля супруги Ли в сопровождении адвоката-англичанина нанесли официальный визит британскому генеральному консулу. Адвокат заявил консулу, что он действует не только в интересах своих клиентов, но и правительства и что его клиенты, будучи британскими подданными, обращаются за помощью к официальным властям, чтобы положить конец бесцеремонным домогательствам некоего сомнительного иностранца. Этот визит положил начало длительной и запутанной цепи бюрократических актов, которые охватили столицы четырех государств, прежде чем история подошла к концу.

Параллельно Чарльз Ли предпринял активные действия на семейном фронте. Он вызвал из Стамбула мать Изабель, что-

бы та лично возглавила внутрисемейную борьбу. Изабель, очевидно, так тщательно хранила свой главный секрет, что миссис Стретер только теперь узнала, что ее будущий зять не просто отвратительный армянин, но еще впридачу и большевик.

В течение июля борьба между семьей, окопавшейся на Рю де Лоран, и Агабековым, поселившимся неподалеку, в отеле Англетер, велась на расстоянии. К концу месяца стало ясно, что на этом этапе семья Изабель вроде бы выиграла баталию. Протестующую и замученную Изабель отправили обратно в Стамбул, в родительскую клетку, — ей еще не исполнился двадцать один год, и по тем временам она считалась несовершеннолетней.

Затем, в начале августа 1930 года, Агабеков был выслан из Франции в Бельгию. Ему пришлось поселиться в Брюсселе, так что расстояние между влюбленными еще более увеличилось. Возможно, Агабеков был выслан потому, что французская контрразведка, начавшая было допрашивать его, обнаружила, что он не особенно склонен к сотрудничеству. (В дальнейшем французы поделились этим впечатлением со своими английскими коллегами.)

Кроме того, присутствие Агабекова во Франции было сочтено нежелательным по причинам чисто политического порядка. Вскоре после приезда в Париж он встретился, как и намечал, со своим старым другом Беседовским, и тот, основываясь на собственном опыте, подсказал, что нужно немедленно предпринимать, очутившись в положении политического беженца. Для начала Агабеков поместил в эмигрантской газете "Последние новости" ядовитую антисоветскую статью. Французскому правительству вряд ли улыбалась перспектива надолго заполучить еще одного крупного советского перебежчика, который станет неистово поносить большевиков в парижской прессе.

Но все-таки главной причиной, побудившей французские власти выслать Агабекова, было давление со стороны семьи Стретеров. В официальном французском сообщении, направленном в Лондон 18 августа, было так и сказано, что Агабе-

ков выслан "в основном по требованию английского генерального консула в Париже, который вмешался в это дело по просьбе матери мисс Стретер".

Однако британское правительство вскоре резко изменило отношение к Агабекову, и дело приняло совершенно другой оборот. Казалось, что тогда, в середине августа 1930 года, влюбленным не на что было надеяться. Изабель вернулась к тому, с чего она начала. Вдобавок семья отобрала от нее даже паспорт, который теперь хранился под замком в отцовском сейфе. Единственной нитью, связывающей Агабекова с Изабель, оставалась почта, но семья тщательно проверяла всю корреспонденцию, так что и эта связь была ненадежной.

Оставалось возложить все надежды на "Интеллидженс сервис", с которым Агабеков уже неоднократно, хотя и безуспешно пытался вступить в контакт. Теперь он рассчитывал, что известность, которую он приобрел за последние месяцы, побудит это ведомство к каким-то важным для него действиям. Он, конечно, отдавал себе отчет и в том, что к нему приковано и внимание советской стороны и что в этих условиях ему просто необходимо поскорее укрыться под крылышком английской секретной службы.

26 августа в интервью, данном парижскому бюро газеты "Чикаго трибюн", Агабеков подробно рассказал о себе и обрисовал свое положение бездомного скитальца, бежавшего от большевизма, не принятого Англией, высланного из Франции и имеющего лишь трехмесячную визу на пребывание в Бельгии. Такое отношение, говорил Агабеков, только отпугивает других крупных агентов ОГПУ, которые могли бы последовать его примеру и дезертировать, прихватив с собой секретную информацию. Он заявил, что ему известны по меньшей мере три агента, которые хотели бы переметнуться на Запад, при условии, что они найдут здесь моральную поддержку.

На следующий же день заявление Агабекова было подхвачено английской прессой и дошло до Уайтхолла. Расчет оправдался: всего сутки спустя Лондон предпринял первые шаги для организации обстоятельного допроса перебежчика.

Долгожданная встреча состоялась 17 сентября в здании бельгийской секретной службы в Брюсселе. Она не разочаровала ни ту, ни другую сторону.

Англичане полагали, что взамен раскрываемых секретов Агабеков потребует денег, и притом, конечно же, крупную сумму. Соответственно и английский офицер, который был назначен для ведения переговоров и представился по-французски "капитан Дени", сразу же перешел к делу: "Сколько?"

Ответ Агабекова поразил его. Оказывается, Агабеков ничего не станет делать за деньги, независимо от предложенной суммы. Даже 100 тысяч фунтов стерлингов не изменят его позиции. Он готов рассказать англичанам все, что знает, а также консультировать их в будущем, но при единственном условии: они должны помочь ему соединить свою судьбу с Изабель Стретер.

Сотрудники "Интеллидженс сервис", собравшись с мыслями, принялись обсуждать эту возможность. Агабекову заявили, что они попытаются убедить бельгийские власти разрешить ему постоянное проживание в Бельгии и выдать визу мисс Стретер, чтобы она могла сюда приехать и выйти за него замуж.

Хотя Агабеков и отверг предложение оплатить его информацию, англичане настаивали на том, что такое вознаграждение само собой будет ему выплачено.* С другой стороны, если он откажется сотрудничать, — на всякий случай наметнули ему, — то его вышлют и из Бельгии, а мисс Стретер будет отказано в визе. Агабеков решительно отменил эти угрозы и вновь повторил, что деньги для него ничего не значат. Перспектива быть высланным из Бельгии пока он один, мало его беспокоила. Что касается Изабель, то бельгийская виза и для нее мало что решала. Главная сложность заключалась в другом: как ее вызволить из Турции, и в этом смысле, безусловно, могло бы оказаться полезным вмешатель-

* Британское правительство было особенно заинтересовано в том, чтобы Агабеков выдал имя советского агента, известного только как "Б-3" и действовавшего в английском министерстве иностранных дел.

ство британского консула в Стамбуле. Пусть он убедит ее отца вернуть ей паспорт, либо выдаст ей новый. Агабеков пустил в ход еще один аргумент. Изабель Стретер только что исполнился двадцать один год, и семья уже более не имела права ее держать под домашним арестом.

У чиновника "Интеллидженс сервис" создалось впечатление, что воссоединение с мисс Стретер стало манией этого человека. Даже случайное упоминание о Стретерах приводило его в неистовство. Бельгийская полиция, под бдительным надзором которой находился этот странный иммигрант, подтвердила, что ее подопечный за короткое время страшно похудел, и что на нем явно сказывалась переживаемая им трагедия любви. Деловой англосакс, вначале собиравшийся обсуждать с Агабековым только денежный вопрос, оказался вовлеченным в вихрь бурных эмоций. Для большей убедительности Агабеков даже показал ему страстные письма Изабель и заставил несколько смущенного сотрудника "Интеллидженс сервис" прочесть некоторые из них.

"Капитан Дени", видимо, был настоящим профессионалом, он вскоре выработал весьма эффективный план действий. Он решил, что следует установить тщательное, негласное наблюдение за всеми передвижениями мисс Стретер, с одной стороны, и тактично нажать на британское посольство в Стамбуле — с другой. Дени также чувствовал, что необходимо немедленно подготовить подробный вопросник, чтобы начать допрос Агабекова сразу же, как только мисс Стретер покинет Стамбул, и закончить его прежде, чем она появится в Брюсселе. Все еще находясь под впечатлением бурной страсти, переживаемой Агабековым, он отчетливо понимал, что Агабеков, возможно, будет потерян как информатор с того момента, когда снова встретится с Изабель.

Наконец Агабекова удалось убедить, что дело немедленно передается на рассмотрение в самые высокие инстанции, и в ответ бывший советский агент письменно сформулировал условия договора о сотрудничестве. Этот "договор", датированный сентябрем 1930 года, является, должно быть, самым странным из всех документов когда-либо появлявшихся в мире шпионажа.

Вот что там было сказано:

"Настоящим я, Г.Агабеков-Арутюнов, обязуюсь, если моя невеста* выедет из Стамбула в Брюссель до 1 октября 1930 года, раскрыть предъявителю этого документа следующее:

1. Каким образом, где и через кого большевики получают документы "форейн оффиса" (сообщу все подробности, а в случае необходимости окажу личную помощь).

2. Обязуюсь ответить на все вопросы, которые мне будут заданы и в которых я считаю себя компетентным".

Уязвимым пунктом этого документа было назначение столь жесткого срока. До 1 октября оставалось всего десять дней, и за это время англичане должны были сломать решетку семейной клетки в Стамбуле и обеспечить Изабель безопасный проезд в Брюссель. Сотрудник "Интеллидженс сервис" допустил здесь явный промах. Будь он чуть большим бюрократам, ему было бы ясно, что такая сложная и деликатная операция, особенно при отсутствии прецедента, священного в подобных случаях для британского парламента, займет гораздо больше времени, чем несколько дней. Так и произошло. Октябрь начался, а Изабель все еще вынуждена была оставаться в Стамбуле.

2 октября капитан Дени прибыл в Брюссель, чтобы попросить у Агабекова отсрочки и уговорить его набраться терпения. Это оказалось нелегкой задачей. Как только бывший советский агент появился в комнате, отведенной для них в здании бельгийской контрразведки, англичанин заметил, что за прошедшие две недели тот еще больше похудел и был на пределе сил из-за постоянного напряжения и неуверенности. Почти как врач, увещающий больного, офицер "Интеллидженс сервис" заверил безутешного Агабекова, что дело дви-

* Агабеков деликатно именуется мисс Стретер своей невестой, но, узнав об этом документе ее родители, они пришли бы в страшное негодование, так как отнюдь не считали свою дочь его невестой. С другой стороны, одно время распространился слух, что он и Изабель еще в мае 1930 года сочетались гражданским браком в персидском консульстве в Стамбуле, но этот слух остался неподтвержденным и, по-видимому, не соответствует действительности.

жется, что высшие инстанции предпринимают все возможное, чтобы воссоединить влюбленных, "не нарушая при этом законодательства Британской империи". Увы, первые попытки оказались безуспешными, но "нужно надеяться, что рано или поздно будет принято благоприятное решение".

Агабеков был признателен за участие, но сказал, что он лично теряет всякую надежду. Его отчаяние усугубляется совершенно безумными посланиями, приходящими от Изабель. Впервые вера в лучшее будущее начала покидать ее, она помышляет о самоубийстве. По-видимому, для него нет другого выхода, кроме как самому вернуться в Стамбул и попытаться каким-то образом вырвать ее из рук семьи. Он отчетливо представляет все трудности и опасности, подстерегающие его при этом. У него почти нет денег, нет легального паспорта, он едва ли может рассчитывать на сочувствие турецкой полиции, не говоря уже о семье Стретеров. Вдобавок Турция находится рядом с Советским Союзом, что еще более увеличивает опасность такого предприятия. Но ничего другого ему не остается. Смогут ли англичане, по крайней мере, помочь ему с проездом на каком-нибудь из английских судов и обеспечить, насколько это возможно, его безопасность в дороге?

Чтобы отговорить Агабекова от такой безумной затеи, на помощь был призван барон Ферхюльст, глава бельгийской контрразведки. К этому моменту барон и сам уже был заинтересован в услугах бывшего советского агента, которые тот может оказать Западу, и потому пришел на помощь своему английскому коллеге. Переговоры кончились тем, что Агабеков согласился подождать еще две недели. Он обещал ничего не предпринимать на свой страх и риск до 15 октября, заручившись обещанием, что его партнеры по переговорам сделают все возможное, чтобы Изабель как можно скорее выехала в Брюссель. Его также заверили, что если ему срочно понадобятся деньги, он может без всяких колебаний получить их через бельгийскую службу контрразведки.

Все растущее желание убаготворить Агабекова было вызвано ростом его потенциальной значимости. Англичанам важ-

но было не только побыстрее раскрыть советского агента, о существовании которого сообщил Агабеков и который был внедрен в аппарат "Фореин оффис" и, очевидно, продолжал активно действовать, не подозревая о нависшей опасности. Их интересовала также возможность и впредь использовать Агабекова для опознания шпионов, а может быть, и для их проверок.

Тем временем Агабеков получил письмо, написанное знакомым почерком агента Иностранного управления ОГПУ — армянина по фамилии Геворкян. Этот агент, действующий в Тегеране под прикрытием должности секретаря тамошнего армянского епископа, направил свое письмо на адрес редакции парижской эмигрантской газеты "Последние новости" — той самой, которая минувшим летом публиковала статьи Агабекова. Газета переслала ему это письмо на бельгийский адрес. Это могло быть ловушкой, подстроенной для того, чтобы рано или поздно разделаться с Агабековым. Но, с другой стороны, нельзя было исключить, что Геворкян сам собирается последовать примеру своего бывшего коллеги. Он сообщал, что живет сейчас в Париже, в отеле "Англетер", под вымышленной фамилией и что ему необходимо срочно увидеться с Агабековым.

Перспектива вербовки Геворкяна казалась заманчивой, и, узнав о письме, полученном Агабековым, капитан Дени еще более усилил давление на английские инстанции, чтобы они предприняли хотя бы первые шаги, направленные к освобождению Изабель.

Однако и новый срок, согласованный с Агабековым в Брюсселе, прошел, а дело, похоже, не сдвинулось с места. Агабеков дал англичанам еще неделю, но когда и эта отсрочка не принесла ничего путного, он начал осуществлять собственный, давно выношенный им план спасения Изабель. Это предприятие еще раз продемонстрировало чисто профессиональную хватку бывшего агента. Подтвердилось также, что Агабеков, по внешности далеко не Ромео, обладал даром воздействовать на женщин, особенно когда речь шла о столь романтической истории. Он убедил свою квартирную хозяйку

мадам Банкен, и ее приемную дочь Сильвию принять участие в спасении Изабель. В случае провала им грозило тюремное заключение, чего они, быть может, и не сознавали. С другой стороны, надежду на успех внушало и то обстоятельство, что Сильвия и Изабель были несколько похожи внешне и одного возраста.

23 октября мадам Банкен с дочерью выехали в Стамбул. Надо полагать, их путешествие было оплачено Агабековым. Замысел был таков: по прибытии на место связаться с Изабель и вручить ей паспорт Сильвии. Изабель отправится в Брюссель под именем мадемуазель Банкен, в сопровождении своей "приемной матери", в то время как Сильвия, задержавшись в Стамбуле, заявит, что она потеряла паспорт, ей выдадут новый в бельгийском консульстве, и она тоже вернется назад.

Прибыв 27 октября в Стамбул, заговорщицы, однако, поняли, что едва ли им удастся даже повидать Изабель. Больше того, они сами тут же попали под надзор турецкой полиции. Мистер Стретер был не менее упрям, чем его дочь, он сообщил турецкой полиции, что Изабель, возможно, была завербована Советами. Поэтому всякий, кто пытался с ней связаться, тут же удостоивался внимания турецких органов безопасности. Нервы мадам Банкен вскоре сдали (возможно, у нее неожиданно быстро кончились деньги, или же обе причины "сработали" одновременно), но после двух суток пребывания в Стамбуле она отправилась домой. Сильвия упорно продолжала крутиться поблизости от дома Стратеров, надеясь, что в крайнем случае сможет без труда выпутаться из этой авантюры. К тому же подобных романтических приключений в ее жизни еще не бывало. Будет, что вспомнить!

Тем временем зашевелились и британские власти, стараясь "вызволить" Изабель — по своему обыкновению — деликатно, не поднимая шума. Пока мадам Банкен и ее дочь размышляли, как им поступить в результате неожиданно возникших препятствий, Агабекова, остававшегося в Брюсселе, неожиданно известили, что британский генеральный консул в Стамбуле получил официальное распоряжение либо отобрать паспорт мисс Стретен у ее отца, либо выдать ей новый.

2 ноября 1930 года Агабеков наконец получил долгожданную телеграмму, текст которой был предельно простым: "Все хорошо. Счастлива. Изабель". В тот же день по настоянию британских и бельгийских властей он отозвал упрямую Сильвию из Стамбула. (Хотя молодая бельгийка и была рада благополучному исходу, ее явно огорчало, что все произошло помимо ее прямого участия.)

Неизвестно, присутствовали ли при встрече влюбленных капитан Дени и барон Ферхюльст. Разумеется, никаких сведений об этом не сохранилось в архивах, не вспоминает о них и Агабеков. То же относится и к свадьбе, которая последовала вскоре после приезда Изабель. Достоверно известно лишь, что на этой церемонии присутствовали мадам Банкен и ее приемная дочь и, конечно же, отсутствовали мистер и миссис Стретер. Их дочь как бы перестала для них существовать на долгие годы, — точно так же как ее муж перестал существовать для своей страны, по-видимому, навсегда. Родители Изабель считали, что ее покарают небеса. Хозяйева Агабекова в Москве вынашивали в отношении "предателя" куда более зловещие планы.

На таком мрачном фоне месье и мадам Арутюновы начали новую жизнь в Брюсселе, на Гран Ру о-Буа, 188. Вскоре, увы, суждено было сбыться самым дурным предвидениям.

ДЕЛО "ФИЛОМЭНЫ"

Что же получили британские и бельгийские власти за все свои хлопоты? Насколько полезным оказался для них Агабеков, когда он наконец начал выдавать информацию? Оправдал ли их ожидания?

В целом оправдал. То, что он им сообщил, можно более или менее условно подразделить на информацию общего характера, касающуюся советской политики, и специфическую информацию о текущих подрывных операциях, нелегально осуществляемых Советским Союзом.

Подобно тому, как двумя годами ранее это сделал в Париже Борис Бажанов, Агабеков нарисовал впечатляющую картину организации и деятельности зарубежной агентуры ОГПУ. Но в то время как Бажанов характеризовал ОГПУ с точки зрения скорее общеполитической, Агабеков поставлял конкретную информацию непосредственно о работе этого ведомства, притом информацию, что называется, из первых рук: занимая в ОГПУ высокий пост, он наблюдал за всем этим механизмом в действии. В общем, Бажанов и Агабеков как информаторы хорошо дополняли друг друга и в целом дали необыкновенно яркую картину.

Бажанов рассказал о гигантской программе ОГПУ: проникнуть во все страны Ближнего Востока для постепенного захвата той территории, которая помогала Англии удерживать в своем подчинении Индию. Агабеков дополнил эти сведения, сообщив, в частности, как он лично, выполняя задание ОГПУ в Афганистане, сотрудничал в Кабуле с некоторыми из тридцати тысяч беженцев из Советской Бухары, устремившимися сюда через афганскую границу. Всего в нескольких милях от Кабула размещался весь двор бухарского эмира, также оказавшийся на положении беженца.

Вначале Агабеков работал под прикрытием дипломатической должности, представляясь приближенным эмира как "атташе турецкой миссии" (он владел турецким языком). Завоевав доверие в кругах, близких к эмиру, он в один прекрасный день заявил, что является одним из этих ненавистных им большевиков. Играя на чувстве ностальгии, охватившем беженцев, Агабеков убедил их вернуться домой. От имени Кремля он обещал им амнистию, возврат собственности и полную компенсацию всего нанесенного им ущерба.

Однако вместо обещанного теплого приема, почти всех ждали арест и ссылка. Прекрасно задуманный план провалился то ли по глупости, то ли из-за предательства. Впрочем, не исключено, что именно таков был замысел Москвы с самого начала: заманить злосчастных беженцев обратно и втихомолку расправиться с ними. Те, кому удалось бежать, вернулись обратно в Афганистан, и их рассказы, естественно, положили конец всякой репатриации.

Агабеков играл на тоске по родине — столь сильной среди эмигрантов — и в следующем году, когда, возглавив сеть ОГПУ в Персии, завербовал в качестве тайных агентов русских белоэмигрантов, включая одного бывшего генерала и бывшего полковника царской армии. Эта операция тоже была направлена в конечном счете против Британии.

Кремль исходил тогда из возможности близкой войны с Англией, особенно после возврата к власти консервативной партии. Отношения между Москвой и Лондоном заметно ухудшились почти сразу после победы консерваторов на выборах в 1926 году.

Агабеков получил даже задание организовать восстание на индийской границе, которое должно было перебраться непосредственно на территорию Индии, в область, населенную белуджами. Были подкуплены вожди белуджских племен и подброшено достаточное количество вооружения, чтобы по сигналу Кремля в любой момент могли начаться вооруженные выступления.

Год спустя Агабеков получил задание провести подобную же операцию среди курдов — народа, чья территория была поделена между Турцией, Ираком, Персией и Советским Союзом. На этот раз советские планы были еще более амбициозны: намечалось, создание "независимой курдской республики" на базе той части Курдистана, которая находилась в пределах территории Советского Союза. И снова Кремль исходил из перспективы предполагавшейся войны с Англией. Советы надеялись бросить курдские племена на захват английских аэродромов на территории Персии. Англичане и без Агабекова, конечно, знали, что главной целью Москвы было изгнать их с территорий у подножья Гималаев. Однако благодаря Агабекову они узнали о том, как конкретно задумывался и осуществлялся первый этап этой обширной операции.

Очень ценной оказалась также информация Агабекова о системе перехвата британской дипломатической почты. Выяснилось, что в свое время он лично организовал перехват официальной корреспонденции между Англией и ее дипломатическими представительствами на Ближнем Востоке, подкупив местных почтовых чиновников. Особенно успешно

действовала эта система в Мешхеде, — городе, который сыграл такую важную роль в истории побега Бажанова. Начиная с 1926 года ОГПУ регулярно имело в своем распоряжении все сообщения из Англии, а также и другую дипломатическую корреспонденцию, направляемую в Тегеран из Мешхеда, и большую часть информации, поступавшей из Индии.

Когда эта система начала действовать, Агабеков с подчиненной ему бригадой гепеушников прочитывали в среднем свыше пятисот писем в месяц. Почтовые чиновники получали по два доллара за каждое британское или персидское письмо и один доллар — за любое другое.

Впрочем, в обеих категориях писем попадались и такие, что вовсе не содержали сколько-нибудь ценной информации. Но в целом игра, безусловно, стоила свеч. Особенно полезной она оказалась в те дни, когда велись переговоры о нефтяных концессиях или, скажем, об использовании территории Персии для создания промежуточной авиабазы на воздушной трассе, соединяющей Англию с Индией. Так, когда Советы узнали, что Англия активно хлопочет о строительстве аэродромов на территории Персии, они оказали через дипломатические каналы в Тегеране нажим на персов, чтобы воспрепятствовать осуществлению этих планов.

Большая часть официальной корреспонденции, попадавшей к персидским чиновникам, печатывалась по всем правилам дипломатической почты. Но Агабеков уверял бельгийских контрразведчиков, что это ни в коей мере не гарантирует секретности почтовых отправок. Его агенты разработали способ вскрывать печати, а после копирования документов снова ставить их на место, да так, что невозможно было обнаружить, что письма были вскрыты.

Однажды в беседе с Агабековым барон Ферхюльст заметил между прочим, что он очень рад, что часть пропавшей было бельгийской дипломатической почты* спустя сутки нашлась, и притом оказалась совершенно нетронутой. Едва улыбнувшись, Агабеков сказал: "Вы уверены, что нетронутой? На

* Были основания подозревать, что она побывала в руках у советских чиновников.

вид — возможно. Но я уверен, что ее вскрыли и познакомились. Не могли они упустить такого случая!" Барон запротестовал: "Это исключено! Пакеты так тщательно прошиты, и они ничуть не повреждены". Тогда Агабеков попросил барона написать какое-нибудь письмо, запечатать со всей тщательностью и оставить ему до следующего дня. Так и было сделано. Возвращенное Агабековым на следующий день письмо даже для опытного полицейского глаза выглядело нетронутым. Тем не менее Агабеков подробно изложил его содержание.

Для бельгийцев, как и англичан, разумеется, было очень важно получить подобную информацию. Она позволяла принять контрмеры. Но больше всего западные секретные службы интересовались именами советских агентов, их легальным прикрытием, их конкретными заданиями на территории Западной Европы. Бажанов смог указать только одного крупного агента, да и то в Персии (министра шахского двора Теймурташа). Беседовский* мог разве что подтвердить, что разведывательные операции осуществляются с территории советского посольства в Париже. Агабеков же был чекистом с 1920 года (с двадцати четырех лет)** и своими показаниями нанес удар не только по всей зарубежной сети ОГПУ, но и по официальным представительствам СССР в Европе и на Востоке.

Советы, как мы знаем, перехватывали дипломатическую почту западных стран, но и те тоже были не лыком шиты. Поэтому им очень скоро стало известно, какой силы удар был нанесен Агабековым своему ведомству. 2 июля 1930 года — спустя восемь дней после измены Агабекова — из Москвы в советское посольство в Берлине (административный центр сети ОГПУ, оперировавшей в Европе) поступила шиф-

* Советский поверенный в делах во Франции, также бежавший на Запад.

** Он начал свою карьеру в Екатеринбургской ЧК — через два года после того, как в Екатеринбурге были злодейски расстреляны Николай II и его семья.

рованная телеграмма на имя сотрудника посольства Вересаева. В телеграмме сообщалось, что вследствие предательства Агабекова "возникла серьезная опасность... Особенно опасная ситуация создалась в отношении тех товарищей, которые находились в контакте с нашим представительством в Стамбуле вплоть до 24 июня 1930".

Далее следовал перечень — фамилии десятка агентов, которых следовало без промедления отозвать в Москву. Трое других получили приказ сменить местонахождение и временно затаиться, прекратив всякую деятельность.

Эта телеграмма, как и ряд других сообщений из Москвы, свидетельствовала также и об опасности, которой подвергался отныне сам Агабеков. Подобно Беседовскому, он немедленно обратился к содействию русской эмигрантской печати, полагая, что гласность принесет ему хоть какую-то защиту.

Однако действия ОГПУ в отношении Агабекова были несколько иными, чем предпринятые годом ранее против Беседовского. Тогда Кремль в последний момент отозвал подосланных убийц, придя к выводу, что убийство дипломата может принести больше вреда, чем пользы.

Агабеков был первым, кто дезертировал непосредственно из ОГПУ, причем с высокого поста. Его начальство наверняка горело желанием лично отомстить ему, но не менее важным было и такое государственное соображение: если ему удастся остаться невредимым, трудно даже представить себе, сколько еще агентов захотят последовать его примеру.

Когда Сталин распорядился об убийстве Бажанова, им владело в первую очередь желание отомстить своему бывшему секретарю за его вероломство. Ликвидация же Агабекова была необходима для того, чтобы не обрушились сваи, на которых держалось все здание советской разведки. Поэтому операция по ликвидации Агабекова не должна была свестись к "рядовому случаю", то есть нельзя было просто пристрелить его на улице какой-нибудь из европейских столиц. Ему уготовили расправу, достойную организации, которую он предал. Волнующая возможность расправы представилась почти сразу же, как только супруги "Арутюнофф" поселились в своей квартире в Брюсселе. Это основательно сплани-

рованное мероприятие вошло в историю под звучным названием "Дело Филомены".

Оно представляет собой операцию, классическую по замыслу, и выглядит как поучительный пример из истории шпионажа всей сталинской эпохи — с точки зрения сложности задуманного плана, стоимости операции и ее длительности. Диктатор готов был идти на все, лишь бы — по любимому сталинскому выражению — **н а к а з а т ь** человека, который его предал.

Тогда, в 1932 году, отголоски этой истории попали на страницы всей мировой прессы — от Брюсселя до Стамбула. Однако, насколько известно автору этих строк, здесь она впервые излагается полностью и впервые основывается на официальных документах, сохранившихся в архивах нескольких европейских государств, замешанных в это дело.*

История эта начинается в Париже с появления некоего Александра Огюста Лекока, который в начале 1930 года жил в отеле "Бретань" на Рю де Ришелье, принадлежавшем его теще. Лекок, французский гражданин, был якобы инженером. По существу же представлял собой довольно распространенный тип международного авантюриста, готового пойти на любое рискованное предприятие, лишь бы на нем можно было заработать.

Должно быть, именно поэтому к нему и обратился некто Нестор Филия, российский эмигрант, проживавший во французской столице. Филию волновала судьба его близких, застрелявших в Советской России. Его жена Евдокия с дочерью Анной жили в городе Николаеве и тщетно пытались получить разрешение на выезд, чтобы выехать к мужу и отцу. Все попытки получить выездные документы до сих пор кончались неудачей. Еще до революции супруга господина Филия положила в швейцарский банк целое состояние — 100 миллионов швейцарских франков.** И счет в женевском банке

* В число этих государств входила даже Румыния. Генеральная дирекция румынской полиции тогда же составила отчет об этом деле на двадцати двух страницах.

** По другим сведениям — даже 400 миллионов.

был открыт только на ее имя. Если бы Лекок помог ей вырваться из СССР, он мог быть уверен, что получит большие комиссионные, как только она сможет реально распоряжаться своим состоянием.

Позднее Лекок утверждал, что для начала он испробовал легальный путь, то есть обратился во французское министерство иностранных дел, надеясь, что можно чего-то добиться путем дипломатических переговоров. Вскоре, поняв, что это безнадежно, он пошел по другому пути. В мае 1931 года он познакомил с этой историей Жана Паниотиса, греческого гражданина, также обитавшего тогда в Париже. Паниотис, уроженец Одессы, хотя и поменял подданство, тем не менее сохранил преданность России. Неизвестно, впрочем, знал ли Лекок, обращаясь к Паниотису, что тот является агентом ОГПУ.

Паниотис в свою очередь обсудил это предложение с другим нелегальным агентом ОГПУ из парижской агентурной сети, Сергеем Минцем, и оба решили прежде всего проверить, существует ли в действительности сногшибательное состояние мадам Филия. Через своего связного в Женеве они установили, что да, существует, и сообщили Лекоку, что готовы участвовать в его предприятии.

25 мая 1931 года Паниотис отправился в СССР, остановился в Одессе, позвонил оттуда госпоже Филия в Николаев, а затем провел несколько дней в Москве. По всей видимости, ОГПУ с самого начала было в курсе этого сомнительного предприятия.

В августе Паниотис вернулся в Париж и сообщил Лекоку поразительные вещи. Советские власти согласились разрешить мадам Филия и ее дочери выехать из СССР, — но при условии, что Лекок в свою очередь поможет ОГПУ расправиться с Агабековым. Сознывая всю опасность такого поворота дела, Лекок в то же время понимал, что в дополнение к комиссионным из Женевы он теперь может рассчитывать на особое вознаграждение от ОГПУ, — и он решил согласиться.

План расправы с Агабековым, разработанный в Москве, в общих чертах выглядел так. Агабекова следовало посвятить в семейную драму Филия и предложить ему как бывшему

опытному агенту ОГПУ устроить побег двух женщин из СССР, — разумеется, за приличную сумму.

Сама по себе операция должна была представляться столь классному агенту вполне осуществимой. Так как дело не упиралось в деньги, проще всего было переправить обеих женщин из Советской России морем. Можно было даже зафрахтовать какое-нибудь иностранное судно с единственной целью доставить госпожу Филия и ее дочь в ближайший иностранный порт, например в болгарскую Варну. Это вряд ли представляло трудность для такого человека, как Агабеков, — ведь он, должно быть, сохранил немало связей на Черном море еще с тех времен, когда был шефом разведки в Стамбуле.

Проблема, однако, заключалась в том, как преподнести этот вариант столь искушенному профессионалу. Надо, чтобы, прельстившись деньгами, он в то же время ни в коем случае не заподозрил ловушку. Неважно, доставит ли пароход женщин в Варну или нет, основной задачей было заманить Агабекова на борт и затем вернуться с ним — предпочтительно живым — в Одессу...

Из всех заговорщиков наиболее респектабельной внешностью обладал Лекок. Но даже он казался недостаточно респектабельным, чтобы усыпить неизбежные подозрения Агабекова.

В этот момент на сцене появляется крайне загадочная личность — семидесятилетний англичанин Альберт Стопфорд, живущий в Париже на Рю де Валуа, 31. Он был высокого роста, очень представительен, состоятелен и определенно с широкими связями. Был ли Стопфорд британским агентом, советским агентом, агентом-двойником или даже вовсе никаким не агентом, — неважно, ибо это не сыграло в последующих событиях ни малейшей роли. Существенно другое: он был гомосексуалистом. Позднее Паниотис признал, что состоял с ним в связи. В отношении другого агента ОГПУ, Сергея Минца, подобной ясности нет. Но, как указывается в одном из полицейских документов, появившихся в ходе расследования "дела Филомены", он служил "секретарем" у Стопфорда.

Так или иначе, Стопфорду отводилась определенная и немаловажная роль. Можно было надеяться, что его внешность

и социальный статус "английского джентльмена со средствами" произведут на Агабекова должное впечатление. Англичанин согласился участвовать в игре либо за деньги, либо по другим, более темным причинам — как человек в определенном смысле зависимый от Паниотиса и Минца и не способный отказать им.

Следующий этап лучше всего представил сам Агабеков в своем сообщении, адресованном бельгийским властям. Находясь в Берлине и ведя переговоры о публикации там своих мемуаров, он получил 23 сентября телеграмму от жены, остававшейся в Брюсселе. Она просила срочно вернуться в Брюссель. Оказывается, к ним заходил Альберт Стопфорд и был огорчен, застав дома одну Изабель. Стопфорд и попросил ее по возможности без промедления вызвать мужа, так как его ждет некое важное и прибыльное дело. Англичанин добавил, что как только его известят телеграммой о возвращении Агабекова, он снова приедет из Парижа и все объяснит.

Встреча Агабекова со Стопфордом состоялась спустя двое суток. Она оставила у Агабекова чувство какой-то странной недоговоренности. Действительно, многое нуждалось в элементарном объяснении. Прежде всего напрашивался вопрос, каким образом англичанин вышел на него.

— Кто рекомендовал меня вам и как вы узнали мой адрес? — поинтересовался Агабеков.

— Я узнал адрес от одного русского белого генерала в Париже...

— От кого же именно? Как его зовут?

— Не могу сейчас вспомнить... Знаете, как трудно нам, иностранцам, запоминать эти русские фамилии!..

Это звучало крайне наивно и было маловероятным по существу: вряд ли бывшие белые генералы достаточно осведомлены об Агабекове, вплоть до того, что знали даже его адрес (не говоря уж о том, чтобы рекомендовать знакомым сотруднику ОГПУ, только что сбежавшего от своих хозяев). Однако подозрения Агабекова несколько рассеялись, когда он узнал о довольно безобидной проблеме семьи Филия. Тем более что для начала Стопфорд хотел только попросить совета и притом готов был за него заплатить. От денег Агабе-

ков отказался, но дал несколько советов: как раздобыть заграничные паспорта в Москве при условии, что просителю удастся разыскать нужных людей и он готов будет заплатить соответствующую сумму. Англичанин удалился, рассыпаясь в благодарностях. Начало знакомству было положено.

Прошло несколько дней, и Агабеков получил от Стопфорда письмо, где он писал, что госпожа Филия не решается больше хлопотать сама и не рискует предложить в Москве взятку. Однако она готова "пойти на любые жертвы", чтобы только вырваться из Советской России, и надеется, что ей "помогут обойтись без официального разрешения". Не сможет ли Агабеков лично устроить ей выезд, разумеется, за соответствующее вознаграждение? Если переправить обеих женщин хотя бы в Болгарию, то оттуда они могли бы легко добраться до Парижа...

Хотя Агабекову не понравилось упоминание Болгарии, мысль о получении крупной суммы денег его явно подбадривала, и он согласился встретиться со Стопфордом, чтобы обсудить, как быть дальше.

Встреча состоялась в середине октября в брюссельском "Гранд Отеле", где Стопфорд снимал роскошные апартаменты. На этот раз англичанина сопровождал человек, который подтвердил существование счета госпожи Филия и размер капитала. Позднее выяснилось, что это был один из агентов ОГПУ, действующих в Швейцарии. Агабекову он представился как Отто Йегер и продемонстрировал свой швейцарский паспорт. Он сказал, что его задача как банкира ограничивается финансовой стороной дела и предложил весьма соблазнительные условия. Агабеков должен был получить 10 тысяч франков до отъезда из Брюсселя и такую же сумму по прибытии в Болгарию. Но это лишь деньги на расходы по предстоящему делу. Если он благополучно доставит мать и дочь Филия в Болгарию, ему выплатят 2 тысячи фунтов стерлингов. По тому времени это была более чем солидная сумма. Достаточно сказать, что на эти деньги супруги "Арутюнофф" могли бы с комфортом прожить не менее четырех-пяти лет. В общем, Агабеков согласился участвовать в рискованном предприя-

тии, полагая, что профессиональные навыки позволят ему избежать возможных опасностей.

Месяц спустя он выехал в Болгарию, располагая там единственной явкой: Варна, ул.Нишка, 20. По этому адресу проживал некий Дмитров. ОГПУ тем временем исправно доставило госпожу Филия и ее дочь в Одессу, и Стопфорд, узнав их новый адрес, тотчас сообщил его Агабекову.

Первый этап путешествия не обошелся без приключений. В Вене Агабекову пришлось задержаться на целых десять дней: австрийская полиция пыталась выудить у него определенную информацию, прежде чем разрешить ему следовать дальше.*

Другая задержка произошла на границе Румынии с Болгарией. Румынские пограничники подвергли его обыску. Правда, ничего компрометирующего они не нашли, так что офицер пограничной охраны извинился и вынужден был объяснить, что из Парижа получена анонимная телеграмма, из которой следовало, что некий важный большевик собирается пересечь границу Румынии, взяв с собой массу нелегальной литературы. Агабеков не усмотрел во всем этом "руки ОГПУ" — слишком бессмысленной представлялась эта задержка, но, с другой стороны, его наводило на размышления одно странное обстоятельство. Получалось, что его поездка не была тайной ни для австрийцев, ни для румын, а между тем единственно кто мог знать об этой поездке, — это седовласый англичанин с улицы Рю де Валуа. Что бы это могло значить? По-видимому, все выяснится в Варне. Но до Варны Агабеков так и не добрался. На третий день пребывания в Софии

* Незадолго до этого в Вене произошло убийство видного австрийского коммунистического деятеля по фамилии Земмельман, который одновременно являлся агентом советской секретной службы. Австрийские органы безопасности арестовали убийцу и теперь пытались дознаться, кто он такой. Сам он утверждал, что его фамилия Пиркович и что он югослав. Но Агабеков сразу же опознал в нем своего бывшего коллегу по ОГПУ Шульмана. Шульман возглавлял в Москве так называемый "черный кабинет", занимавшийся изготовлением фальшивых документов, и в свое время лично приготовил для Агабекова фальшивый персидский паспорт, с которым тот появился в Стамбуле.

его вызвал шеф болгарской полиции Прелявский и заявил, что в интересах самого же Агабекова — немедленно покинуть Болгарию, не заезжая в Варну. Хотя виза была выдана ему на целый месяц, он понимал, что настаивать бесполезно, да и небезопасно. На следующий день он отправился обратно тем же маршрутом, каким приехал, и вернулся в Брюссель усталый, раздраженный своим бесплодным путешествием и изрядно обескураженный.*

Всем, начиная с ОГПУ, пришлось разрабатывать новый план. Когда Стопфорд узнал от Агабекова, как обходительно с ним обошлись румыны, сама собой появилась идея: заметить Варну румынским портом Констанца, куда, разумеется, тоже вполне может прийти пароход из Одессы.

Агабеков сказал, что ему надо подумать. Он решил поставить в известность об этом предприятии своих влиятельных патронов — барона Ферхюльста и "капитана Дени". 13 декабря 1931 года он представил им письменное изложение событий, начиная с первого визита Стопфорда к его жене и кончая последним предложением переключиться на румынский порт. Агабеков подчеркивал в этом письме свои вполне обоснованные опасения; любопытно вместе с тем, что он не попросил профессиональной помощи, в частности проверки личности Альберта Стопфорда. Однако он приложил к своему сообщению копии всех писем, которые получил от англичанина. Письма производили впечатление льстивых и елейных, рассчитанных на приманку какого-то простака. Впрочем, может быть, Агабеков полагал, что их стиль соответствует английскому воспитанию?

Так, первое письмо, адресованное жене Агабекова, начинается явно в российском духе: "Дорогая мадам Арутюнова (я думаю, "мадам" лучше подходит к русской фамилии, чем "миссис")..." Письмо от 28 сентября, после первого визита Стопфорда в Брюссель, он начинает такими словами:

* Похоже, что болгарские власти догадывались по каким-то признакам о заговоре с целью "ликвидировать" Агабекова на их территории и, настаивая на его немедленном отъезде, надеялись таким путем избежать международного скандала.

"Мои дорогие друзья, — если вы позволите так себя называть..." "Дорогие друзья" извещались о том, что телеграфный адрес Стопфорда звучит так: "Стоппи Париж". Думается, такое игривое обозначение само по себе уже дает достаточно верное представление о личности престарелого "Стоппи".

Тремя днями позже, когда он договорился с "банкиром из Цюриха" Отто Йегером о переводе денег, приветствия стали еще более теплыми: "Мои дорогие великодушные друзья..." Этот тон отдает скорее не англосаксонским воспитанием, а византийским коварством!

Из писем Стопфорда можно сделать еще один многозначительный вывод. "Стоппи" в Париже был, оказывается, точкой, через которую проходили все сообщения, достигавшие Агабекова, даже отчаянные послания госпожи Филия из Советской России (не миновавшие, конечно же, цензуры, а значит, и ОГПУ). Концентрацию всех нитей в одних руках можно было объяснить необходимостью соблюдения сугубой секретности. Однако конспирация, доведенная до такой степени, сама по себе начинала выглядеть несколько подозрительно.

В этот момент заговорщикам понадобилось ввести в игру еще одно лицо и притом обязательно представить его Агабекову. Причина выяснилась позже, после скандального финала и расследования, проведенного полицией более чем полудюжины стран. Причина эта была очень проста. В агентурной сети ОГПУ в Варне, где вначале предполагалось захватить Агабекова, нашлись агенты, знавшие его в лицо. Когда же операция была переключена на Констанцу, возникла необходимость, чтобы кто-то из "своих людей" сопровождал Агабекова, был в курсе всех его передвижений и указал на него тем, кому поручалось его убить или похитить. Выбор пал на Лекока.

Итак, когда Стопфорд снова прибыл в "Гранд Отель", чтобы окончательно договориться с Агабековым о "румынском варианте", его сопровождал "французский бизнесмен, который, по словам Стопфорда, помогал в осуществлении операции и оказался сейчас в Брюсселе по делам". Грек Паниотис также прибыл в Брюссель с этой парой, но на глаза Агабекову не показывался.

После короткого обсуждения, каким образом лучше всего зафрахтовать судно, был разработан подробный план действий каждого. Агабеков и Лекок должны были выехать в один и тот же день — 23 декабря, но порознь, и 26-го утром встретиться в бухарестской гостинице "Афинский дворец". Таким образом, супруги "Арутюнофф" лишились возможности провести вдвоем первый в их совместной жизни праздник Рождества. Несчастливая Изабель снова оставалась в Брюсселе в полном одиночестве.

В конце декабря ОГПУ подыскало торговое судно, давшее кодовое название всей этой афере. Это была греческая посудина "Елена Филомена". Судно было зафрахтовано Совторгфлотом, когда оно находилось в Марселе. Команда состояла из двадцати греков, капитаном был тоже грек — Спиро Катаподис. Семеро членов команды, впрочем, сразу же были заменены агентами ОГПУ, и судно вышло из марсельского порта, держа курс на Стамбул. Позднее стало известно, что на борту находилась также молодая немка, фрейлейн Гаублер, но, кажется, ее присутствие объяснялось личным желанием капитана и не имело отношения к цели этого рейса.

Пока "Филомена" не спеша двигалась по Средиземному морю, Агабеков и Лекок встретились в бухарестской гостинице, куда оба прибыли вовремя. Мы не знаем, что в действительности думал Лекок о человеке, который должен был стать его жертвой, хотя в документе, составленном впоследствии, он заявил, что его мучили угрызения совести и он отказался принимать участие в заговоре на последнем его этапе, то есть непосредственно в похищении или убийстве Агабекова. Со своей стороны, Агабеков сообщал патронам, что у него с самого начала не вызывал доверия этот маленький, толстый, белесый француз, которого ему навязали в попутчики. Он считал, что француз поверхностен, глуповат, неспособен даже убедительно солгать — существенный недостаток в глазах любого гешефтшика. Со временем выяснилось, что Лекок вдобавок ко всему еще и трус. Впрочем, это обстоятельство оказалось в дальнейшем очень кстати.

По ходу дела заговорщики решили, что, если уж им удалось заманить Агабекова в Румынию, надо все-таки попопро-

вать завлечь его в Варну. Лекок вызвался отнести паспорт Агабекова в болгарское посольство и попросить визу. Агабеков отнесся к этому абсолютно безразлично, будучи уверен, что его недавний откровенный разговор с органами безопасности в Софии не прошел бесследно. Он оказался прав — Лекок вернулся ни с чем. Однако предстояло окончательно выбить Варну у него из головы. Агабеков нарисовал ему страшную картину анархии и террора, царящих в Болгарии: ежедневно, дескать, ни в чем не повинных людей убивают там среди бела дня, они исчезают бесследно, и полиция ничего с этим не может поделать... В результате Лекок телеграфировал в Париж: выбора нет, пусть судно придет в Констанцу.

Румынская сигуранца (служба безопасности) установила тщательное наблюдение за достаточно известным ей Агабековым и его компаньоном, как только они пересекли границу. Естественно, румыны прочли эту телеграмму Лекока, адресованную Минцу, как читали и всю его прочую корреспонденцию. Эта неусыпная слежка сыграла решающую роль в разыгравшейся позже драме. Но тогда румынским органам безопасности еще не были известны ни масштаб операции, ни ее конечная цель.

29 декабря, в тот же день, когда Лекок своей телеграммой окончательно переключил операцию на Румынию, пришел и ответ из Парижа, предписывающий немедленно выезжать в Констанцу. Там Лекок поселился в самом роскошном отеле. Агабеков из осторожности, ссылаясь на необходимость экономии средств, выбрал более дешевую гостиницу "Централь".

Стопфорд между тем известил Лекока, что в Констанцу направляется человек, который "окажет необходимую помощь на месте". А пока единственное, что требуется, — это оставаться на месте и следить, чтобы Агабеков никуда не исчез.

Тем временем Агабеков испытывал все возрастающее беспокойство. Он приходил к выводу, что дело явно нечисто. Его подозрения перешли в уверенность, когда утром 7 января Лекок познакомил его с новым участником "ожидания женщин из Одессы", который только что прибыл из Варны.

Агабеков пожал руку энергичному широкоплечему болгарину лет тридцати, по фамилии Цончев, и профессиональное чутье сразу же подсказало ему, что это агент ОГПУ. Когда же выяснилось, что Цончев на самом деле приехал вовсе не из Варны, а из Стамбула и вообще ничего не знал о подготовке операции в Варне, Агабеков сказал себе: это не просто "человек ОГПУ", он, по всей вероятности, назначен исполнителем "приговора", то есть убийцей его, Агабекова.

Но он оказался прав только наполовину. Цончев (именно о нем сообщал Стопфорд в своей телеграмме) действительно был теперешним руководителем сети ОГПУ в Турции. Но в этой операции его роль состояла только в том, чтобы в подходящий момент навести на Агабекова действительных убийц. Реальный исполнитель прибыл в Констанцу 9 января на борту "Филомены". Чтобы усыпить любые подозрения и ублажить скрягу капитана, судно было зафрахтовано на шесть месяцев, хотя ему предстояло всего лишь единожды пересечь Черное море.

Вновь прибывший участник заговора, сопровождаемый целой компанией агентов ОГПУ, поднялся на борт "Филомены" в Стамбуле. Это был, если судить по его документам, тоже коренной болгарин. В действительности его звали Григорий Алексеев. Родился он в России и был заядлым большевиком, по крайней мере с того момента, как дезертировал из царской армии в начале 1917 года. Похоже, что "болгарское подданство" он приобрел исключительно ради задуманной операции, поскольку не далее как в 1930 году еще активно действовал в Советской России как руководитель профсоюза трамвайщиков. Его большевистская кличка была "Гриша", так мы и условимся его называть впредь.

Переход от трамвайного профсоюза к новому заданию партии был головокружительно внезапным. По прибытии в Стамбул Грише объявили, что ему как преданному партийцу поручается дело, касающееся предателя Агабекова-Арутюнова. В Констанце предателя уговорят подняться на борт "Филомены". Если же по пути из Констанцы в Одессу понадобятся дополнительные "меры убеждения", то Грише надлежит безо всяких колебаний применить хлороформ, полу-

ченный им для такого случая. По прибытии в Одессу Гриша должен лично доставить предателя в горисполком, где его уже будут ждать.

Если же предатель заупрямится и не пожелает подняться на борт "Филомены" в Констанце, тогда его следует тут же хладнокровно застрелить. Гришу снабдили необходимой суммой в долларах для покупки оружия на месте. Как только дело будет сделано, он должен объявиться на "Филомене" — это была как бы плавучая база ОГПУ. Достоинство плана состояло в том, что никто из основных участников заговора не выглядел связанным с Советской Россией. В частности, непосредственно в операции не участвовал никто из агентов постоянной сети ОГПУ в Турции, Болгарии или Румынии. Сам Гриша, чтобы до поры до времени никому не мозолить глаза, провел ночь в публичном доме.

В день прибытия "Филомены" все шло гладко. Агабеков, словно забыв о всякой предосторожности, завел обычай изо дня в день обедать — в одиночку или в обществе Лекока — в ресторане "Юбилей". В конце недели к ним присоединился Цончев, указавший издали Грише на будущую жертву. Однако Агабеков ни под каким предлогом не желал даже издали взглянуть на судно, которое уже стояло на якоре в Констанце. Он чуял целую свору крыс на борту и при упоминании "Филомены" вдруг начинал задавать всякого рода нелепые вопросы — явно для того, чтобы выиграть время.

Уже на другой день после прихода "Филомены" заговорщикам стало ясно, что без применения оружия не обойтись, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Лекок был близок к истерике и посылал в Париж телеграмму за телеграммой, жалуясь, что он болен и не может дальше выдерживать этого напряжения. В ответ Стопфорд дал понять, что он собирается прервать спокойную жизнь на Рю де Валуа и примчаться в Констанцу — ОГПУ во Франции тоже явно нервничало.

Фактически в приезде англичанина не было необходимости. Вечером 10 января Лекок и Цончев сделали первую попытку завлечь Агабекова в ловушку. В отеле "Регина" на этот вечер был назначен бал. Почему бы им всем троим не пойти развлечься и забыть на время о госпоже Филия? Агабекова

это предложение насторожило: обычно изнуренный ожиданием Лекок не позже десяти укладывался спать. Ясно, решил Агабеков, они рассчитывают меня спойть или подсыпать в пищу снотворного, а затем, за спинами веселящейся толпы либо затащить на судно, либо всадить нож в спину. Он притворился, что готов пойти на бал, но когда наступил вечер, заперся у себя в номере. Около полуночи заговорщики, не дождавшись его на балу, постучали к нему и спросили, что случилось. Он объяснил, что лег вздремнуть, проспал и теперь очень сожалеет, что не пошел развлечься.

Именно в этот момент, стоя у двери гостиничного номера, Лекок вдруг объявил, что ему нужно срочно вернуться в Париж и ему больше нет необходимости задерживаться в Констанце. Цончев сказал, что он, со своей стороны, тоже собирается в Бухарест, но, возможно, "всего на полдня". На рассвете Агабеков появился на железнодорожном вокзале, чтобы убедиться, что Лекок действительно уезжает. Лекок пришел вдвоем с Цончевым, но уехал один. Остальную часть дня Агабеков с болгариним провели вместе и договорились поужинать в "Юбилее" в восемь вечера.

Придя в ресторан, Агабеков уже знал, что ему придется ужинать в одиночку. Ему было известно, что Цончев в Бухарест не уехал, а вместо этого зарезервировал себе место на пароходе, уходящем в 9.30 вечера в Стамбул. Это значило, что он, боясь опоздать на пароход, поспешит поскорее уйти из ресторана. Одновременный отъезд обоих говорил Агабекову многое. Их услуги были больше не нужны, и план обманым путем вытянуть его отсюда в Одессу снят с повестки дня. Агенты ОГПУ попытаются убить его на месте.

Что произошло дальше, мы знаем со слов самого Агабекова. Вот что он сообщает в одном из своих письменных показаний:

"К восьми вечера я был в ресторане. Я сел за столик у окна, выходящего на узкий двор. Окно было закрыто тонкой кружевной занавеской, от него дуло, и я решил пересечь так, чтобы сидеть к окну лицом. Через несколько минут появился Цончев. Мы заказали водку и ужин. Цончев заказал

совсем мало, притом исключительно готовые блюда. Он сказал мне, что, возможно, уедет в Бухарест ночным поездом, но до этого еще должен кое с кем встретиться тут, в Констанце. Я молча лил водку и наблюдал за ним. Минут через пятнадцать он расплатился и встал, не закончив ужина: "Вернусь через полчаса..." Я ответил, что в отеле скучно, так что я, скорее всего, останусь в ресторане, и мы увидимся здесь.

После ухода Цончева я курил в ожидании, когда подадут кофе. Вдруг снаружи на занавеску упала тень. Подняв глаза, я увидел за окном фигуру, глядевшую прямо на меня. Правая рука этой фигуры с каким-то зажатым в ней предметом медленно поднималась. Прежде чем я успел сообразить, что мне делать, снаружи появились другие тени и послышались громкие голоса. Я выскочил в ближайшую дверь и увидел, что несколько человек держат одного. Тот был уже в наручниках.

Я сразу же понял, что произошло. В последний момент покушавшийся был схвачен людьми из румынской полиции. В тот же вечер, как оказалось, был арестован и Цончев, направлявшийся на пароход. Лекока задержали на венгерской границе, в вагоне "Восточного экспресса", и доставили на допрос в Бухарест. Были арестованы также капитан "Филомены" и его подруга-немка".

"Тень за занавеской" оказалась неудачливым убийцей Гришей, который ради такого случая был одет в новый костюм — без сомнения, купленный на доллары ОГПУ. На допросах в сигуранце он некоторое время утверждал, что его фамилия Стоянов, однако быстро "раскололся" и подробно рассказал, как планировалось убийство. В ходе следствия он назвал ряд агентов ОГПУ, оперировавших в Бухаресте и Стамбуле. Это было особенно кстати, так как стамбульская сеть только-только начала оправляться от удара, который ей нанес своим побегом Агабеков.

Даже если бы Гриша сумел вернуться на "Филомену", выполнив порученное задание, это бы его не спасло. Судно было сразу же конфисковано румынскими властями, и все находившиеся на его борту арестованы. Один за другим да-

вали показания все участники этой интернациональной банды: француз, грек, так называемый болгарин... Элегантный Стопфорд, отбудь он из Парижа на сутки раньше, тоже оказался бы в ловушке. Но получилось так, что англичанин оказался единственным, кому удалось избежать ареста.

Хуже всего, что скандал длился не какие-то дни и недели, а целых два года и сопровождался оглашением фамилий целого ряда советских агентов. Причем именно "Филомена", давшая свое имя всей этой аванюре, доставила Москве уйму неприятностей и в дальнейшем.

В этом можно при желании усмотреть некий перст судьбы. Греческий капитан Катаподис оказался самым стойким из всех арестованных. Он держался до последнего, — до тех пор, пока ему не предъявили компрометирующие его показания всех остальных участников заговора. Но спустя много времени стало ясно, что не меньшее упрямство он проявил и в отношении своих советских работодателей. Они втравили его в эту авантюру, гарантируя выгодный фрахт на полгода, и теперь он был полон решимости рано или поздно содрать с них эти деньги. На целых шесть месяцев он оказался не у дел: его судно находилось под арестом в Констанце, так же как и он сам и вся его команда. Выйдя снова в море, он жаждал расплаты и только и выжидал случая, чтобы захватить какой-нибудь советский груз.

Случай представился в начале 1934 года. Катаподис вез лесоматериалы из СССР в Египет. Прибыв в феврале в Александрию, он вместо того чтобы сдать груз местным заказчикам — фирме Бассили и К^о, объявил о своем намерении продать лес с аукциона. Он заявил, что два года назад Советы обещали ему 8 тысяч фунтов стерлингов за участие в попытке похитить их бывшего агента, но он не получил ничего. Напротив, в течение шести месяцев его держали в Румынии под арестом, и таким образом, он потерял значительный заработок. Теперешний советский груз, стоимость которого составляла приблизительно 3 тысячи фунтов стерлингов, мог частично окупить его потери.

Советскому правительству не оставалось ничего иного, как нанять лучших в Египте адвокатов и обратиться в суд. Это

громкое дело разбиралось в суде несколько недель, и вновь трясли грязное советское белье, и вновь всплыли скандальные детали, связанные с событиями 1932 года...

ОГПУ пришлось на время оставить Агабекова в покое. Он, в свою очередь, после всего, что случилось, испытывал понятное уважение к румынской сигуранце и рад был оказаться полезным ей в качестве консультанта. Агабеков быстро завоевал доверие шефа румынской политической полиции Ветилла Ионеску и его ближайших сотрудников. Правда, предложение поступить на службу в сигуранцу он отверг, однако сохранил с румынами наилучшие отношения. Они дали друг другу слово поддерживать связь. В это время в Румынии находилось человек пять британских агентов, которые, помимо прочего, занимались засылкой агентуры в СССР через границу по Днестру. Возможность постоянных контактов с Ионеску оказалась всвязи с этим очень кстати.

Однако "дело Филомены" имело и неприятные для Агабекова последствия. Вскоре после возвращения в Брюссель полиция известила его, что располагает информацией о попытке похитить двух гражданок Советского Союза и об участии Агабекова в этом сомнительном предприятии. Участие в такого рода действиях идет вразрез со статусом, на основании которого ему было предоставлено временное убежище в Бельгии. Таким образом, ему придется немедленно покинуть страну. Впрочем, в дальнейшем это решение может быть пересмотрено и жене его в ожидании пересмотра разрешено остаться жить в Бельгии.

Барон Ферхюльст сделал все от него зависящее, чтобы высылка Агабекова была отменена, но его вмешательство не имело успеха. Итак, несчастной Изабель уже не в первый раз предстояло переживать разлуку с мужем.

Но сам Агабеков не унывал. Ему удалось обзавестись кое-какими знакомствами в Германии, пока он вел там переговоры относительно издания своих мемуаров. Теперь он решил временно переселиться в Берлин.

Но на кого он станет там работать? И на какие средства будет жить Изабель? "Капитан Дени" — или кто-то из его

коллег-англичан — в этот трудный момент снова пришли на помощь Агабекову. На встрече, которую ферхюльст организовал накануне его отъезда, было достигнуто соглашение, которое фактически делало Агабекова агентом британской секретной службы.

В Германии он мог вести работы в двух направлениях: во-первых, у него были друзья в организации "Рейхсбаннер", которая пыталась вести подрывную деятельность против Французской республики и в то же время боролась с коммунизмом; во-вторых, на территории Германии действовало в те времена около тысячи советских агентов и грешно было бы не сделать попытку перевербовать хотя бы нескольких из них.

Больше всего он беспокоился о своей жене, хотя знал, что время от времени сможет появляться в Брюсселе и навещать ее. Нельзя ли, однако, устроить ей британскую визу, чтобы она могла в это трудное для нее время отправиться в Англию и погостить у своих тетушек? Еще важнее, чтобы она получала небольшое денежное пособие, пока он отсутствует.

В результате "блиц-переговоров", проведенных в последний момент, Агабеков согласился, как мы знаем, работать на англичан. Те выдали ему авансом 60 фунтов стерлингов на устройство в Германии и обязались ежемесячно выплачивать 20 фунтов стерлингов его жене.

Изабель всегда хотела, чтобы он работал на англичан, пусть даже в этой зловещей области шпионажа, о которой она имела самое смутное представление. Это бы успокаивало ее совесть и оправдывало ее брак не только в собственных глазах, но, как она надеялась, в глазах всей ее семьи.

В последующие годы Агабеков так и не продвинулся по службе. Причины этого не ясны и до сих пор. Спустя год он предложил отправиться в Курдистан и завербовать там для работы на англичан нескольких советских агентов. Для финансирования операции он запросил довольно существенную сумму — 10 тысяч фунтов стерлингов. Похоже, что эта операция вовсе не состоялась.

Изабель, не в силах более выносить такую жизнь, в апреле 1936 года разошлась с Агабековым и уехала в Англию.

Как бы в знак того, что ее решение является окончательным, она вернула себе девичью фамилию. Окончив в Лондоне шестимесячные курсы секретарш, двадцатисемилетняя Изабель попыталась начать жизнь сначала.

Агабеков в этот период уже отчаянно нуждался в деньгах. Теперь, когда он не нес ответственности за семью (то есть за Изабель), его планы раздобыть денег и снова "выйти в люди" становились все более рискованными и отчаянными. Словом, складывалась как раз такая ситуация, какой все эти годы терпеливо дожидалось ОГПУ. В 1937 году была подготовлена вторая попытка разделаться с Агабековым.

В Испании уже бушевала гражданская война.. Оказывая политическую и военную поддержку республиканцам, Сталин считал, что их надо заставить каким-то образом оплатить, насколько это возможно, "братскую помощь". Наиболее блестящая авантюра Кремля — присвоение золотого запаса Национального банка Испании — связана с историей другого видного советского перебежчика.* Операция, в которую дал себя вовлечь Агабеков, была более скромной, однако тоже весьма выгодной. Речь шла о похищении сокровищ испанского искусства. Советы помогли организовать такую систему: как только республиканские части захватывали очередную церковь, монастырь, дворец или замок, — все мало-мальски стоящие картины, статуи и драгоценности, которые могли найти покупателя на международном рынке, вывозились и затем продавались перекупщикам в Париже, Брюсселе и других местах. Агент ОГПУ по фамилии Зелинский руководил этой акцией в Бельгии, и в начале 1937 года ему пришлось в голову (возможно, по подсказке из Москвы?), что выгодная коммерция вполне может сочетаться с давно задуманной мезью.

Агабекову через посредников предложили принять участие в так называемом "Брюссельском синдикате" и гарантировали ему определенную часть прибыли. Понимая всю опас-

* Александра Орлова, которому посвящена отдельная глава в книге Г.Брук-Шеферда.

ность, связанную для него с таким предложением, он поставил непереносимое условие: чтобы ему ни при каких обстоятельствах не пришлось пересекать испанскую границу (республиканская Испания в те годы кишела агентами ОГПУ). Однако он согласился присматривать за перемещением награбленных ценностей по эту сторону границы, то есть на французской территории. Ему обещали 10 тысяч франков ежемесячно и заплатили за несколько месяцев вперед.

Поскольку Франция официально была все еще закрыта для него, то въезд Агабекова задержался на время, необходимое, чтобы достать фальшивый французский паспорт. В начале июля 1937 года он наконец проехал через Париж, направляясь к испанской границе.

Согласно одной из версий, ему дважды позволили остаться на французской стороне границы и получить свою долю за сравнительно простую и безопасную работу: он отправлял отсюда грузы в Париж и другие перевалочные центры. Но на третий раз то ли его подозрительность несколько притупилась, то ли взяла верх тяга к деньгам, но так или иначе, он отправился в горы, чтобы принять товар непосредственно из рук республиканцев. Здесь, в дикой местности, где линия границы нечеткая, то есть, возможно, уже на территории Испании, на него напала группа "разбойников", людей, специально подобранных для этой цели, которые растерзали его и останки сбросили в пропасть.

Согласно другой версии, осторожность никогда не изменяла Агабекову. С самого начала подозревая ловушку и считая, что ему дадут возможность сделать только один рейс (который послужит в качестве приманки), а во второй раз прикончат, он решил руководствоваться лозунгом "грабь награбленное" — и всех оставить в дураках. Его план был прост: выбрать одну действительно стоящую картину из первой же партии — и тут же исчезнуть с нею, чтобы начать жизнь сначала где-нибудь в Южной Америке.

В конце августа, по этой версии, он был убит где-то неподалеку от границы советскими агентами. Убийство было обставлено как часть кампании против дезертиров, на которых

республиканцы регулярно устраивали свирепые облавы. Тело убитого попало в руки местной полиции, но так как документы были фальшивыми, то не удалось установить, были ли это Агабеков. Однако обе версии сходятся в том, что Агабеков действительно угодил в подстроенную ему ловушку, из которой ему не суждено было выбраться живым. Верно также и то, что погиб он где-то в Пиринеях.

Жизнь Изабель, насколько можно судить, продолжала оставаться одинокой и унылой. Спустя пять лет, проведенных в Англии, она восстановила британское гражданство. Почти сразу же после этого — шла уже вторая мировая война — Изабель вступила в женский вспомогательный корпус Военно-воздушных сил и окончила войну в звании капрала. После войны она работала в ООН в Комиссии по расследованию нацистских преступлений. Наконец, в 1949 году колесо ее жизни сделало полный оборот: Изабель вернулась на ту должность, с которой ушла двадцать лет назад из-за встречи с Агабековым, — должность секретаря в министерстве иностранных дел.

В 50-е годы она работала стенографисткой то в парламенте, то в британских посольствах за границей — в Лиссабоне, Сайгоне, Мексико-сити, Токио, достигнув в какой-то момент положения личного секретаря посла. Ее ценили как добросовестного и умелого сотрудника, но с годами она становилась все более замкнутой, все больше уходила в себя.

Ее коллеги вспоминают только один эпизод в ее жизни, который можно бы назвать запоздалым романом. Находясь на Дальнем Востоке, она встретила служившего там офицера американской армии. Человек легкий, общительный, что типично для американцев, он относился к этой хрупкой женщине чутко и бережно и, по-видимому, был очень ей предан. Однако работа "мисс Стретер" приближалась к концу, они расстались и жизнь их пошла разными путями.

Друзья по дипломатической работе отмечали одну ее странность. Куда бы ее ни назначали, она отправлялась в путь с единственным небольшим чемоданом, где умещалось все

ее имущество — одежда и личные вещи. Она резко отличалась от остальных служащих посольств, отказывая себе в приобретении каких бы то ни было предметов искусства или хотя бы сувениров в странах, где ей случалось работать. Когда ее спрашивали об этом, она обычно пожимала плечами и просто отвечала, что не хочет таскать с собой все это барахло.

Эта ее черта была столь же необычной, сколь и знаменательной. Она вышла из своей пресной английской среды в экзотический иностранный мир единственный раз в жизни — и это кончилось катастрофой. Изабель никогда не упоминала об этом эпизоде своей молодости, никогда не высказывала своего мнения о конфликте между Западом и Востоком, который давал себя знать в каждом посольстве, где бы она ни работала. Она как бы отгородилась от внешнего мира и его проблем.

Вдова Георгия Агабекова умерла в возрасте шестидесяти двух лет. Смерть настигла ее 29 ноября 1971 года в Нью-Йорке, где она служила в английской миссии ООН.

Перевод с английского Иосифа Косинского

panorama

American - Russian weekly newspaper
крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в г. Лос Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

ГЛОБУС (обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни).

ГОЛЛИВУД (рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с театральными и киноработниками, обзоры событий в кинемире США и других стран).

ЛИТЕРАТУРА, СПОРТ, ЮМОР, ЗДОРОВЬЕ

В "Панораме" впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Ильи Сулова, Александра и Льва Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

"Панорама" имеет постоянные представительства в Сан Франциско и Нью Йорке.

Подписная цена:

21.60 ам. долларов на 12 мес. — для США и Канады

13.00 ам. долларов на 6 мес.

39.00 ам. дол. на 12 мес. — в других странах

23.00 ам. дол. на 6 мес.

Для оформления подписки на Панораму вышлите чек /мони ордер/ на требуемую сумму (в американских долларах) в адрес издательства:
Almanac P O. Box 480264, (чеки выписывать
Los Angeles, C A 90048 на Almanac)

Не забудьте точно указать свой почтовый адрес.

ОПРАВ

ДАДА

КАФЕ "ВОЛЬТЕР" — КУЗНИЦА ЛЕНИНИЗМА

В этом номере мы решили познакомить наших читателей с работами художника Вагрича Бахчаняна, и в частности представить на их суд Ленинский цикл художника.

Вагрич Бахчанян — один из наиболее талантливых представителей гротескного нигилистического искусства, чьи выставки уже неоднократно привлекали внимание критики и его многочисленных поклонников. Стиль, в котором работает художник, ближе всего к дадаизму — течению, сложившемуся в годы первой мировой войны.

Дадаисты, — как правило, анархистствующие интеллигенты — выступали против существующего миропорядка (что само по себе не такая уж новость для людей искусства), но их выступления выражались в своеобразном художественном хулиганстве. Так, одна из самых известных работ дадаистов — это "Мона Лиза" М.Дюшана, в которой леонардовской монет Лизе пририсованы усы. К дадаистам, по словам Бахчаняна, восходит все современное нигилистическое искусство, включая сюрреализм.

Но отчего художник решил обратиться именно к ленинской теме?

"Мало кому известно, — рассказывает Бахчанян, — что Владимир Ильич Ленин, живя в Цюрихе, довольно часто заезжал в кафе "Вольтер", где собирались художники и литераторы дадаисты. Отсюда вождем мирового пролетариата, по-видимому, и вынес идеи абсурдного переустройства мира, которые реализовал затем в Великой Октябрьской Социалистической революции".

История послеоктябрьской России — это история бесконечных абсурдов. Абсурд даже в том, что праздник Октября празднуется в ноябре. И так, в России была построена самая абсурдная система в современной истории, а символ этой системы — Владимир Ильич Ленин.

Ленинский цикл Бахчаняна не требует комментариев. Перед нами знакомые с детства сюжеты, в каждом из которых присутствует Ленин — абсурдный вождем абсурдного и уродливого мира.

Б.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ



ВАГРИЧ БАХЧАНЯН О САМОМ СЕБЕ

Я родился в Харькове через 21 год после свершения Великой Октябрьской Социалистической революции.

Пошел в школу в год капитуляции фашистской Германии. Поступил на работу вскоре после смерти Сталина.

Был призван в ряды советской армии через 20 лет после 1937 года.

Демобилизовался после 90-летия В.И.Ленина.

Переехал в г.Москву за шесть лет до кончины маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного.

В определяющем году девятой пятилетки покинул СССР. Вена. Третий день после отставки Ричарда Никсона.

Р.С.9 октября 1974 года нахожусь в Нью-Йорке (США).

В.БАХЧАНЯН



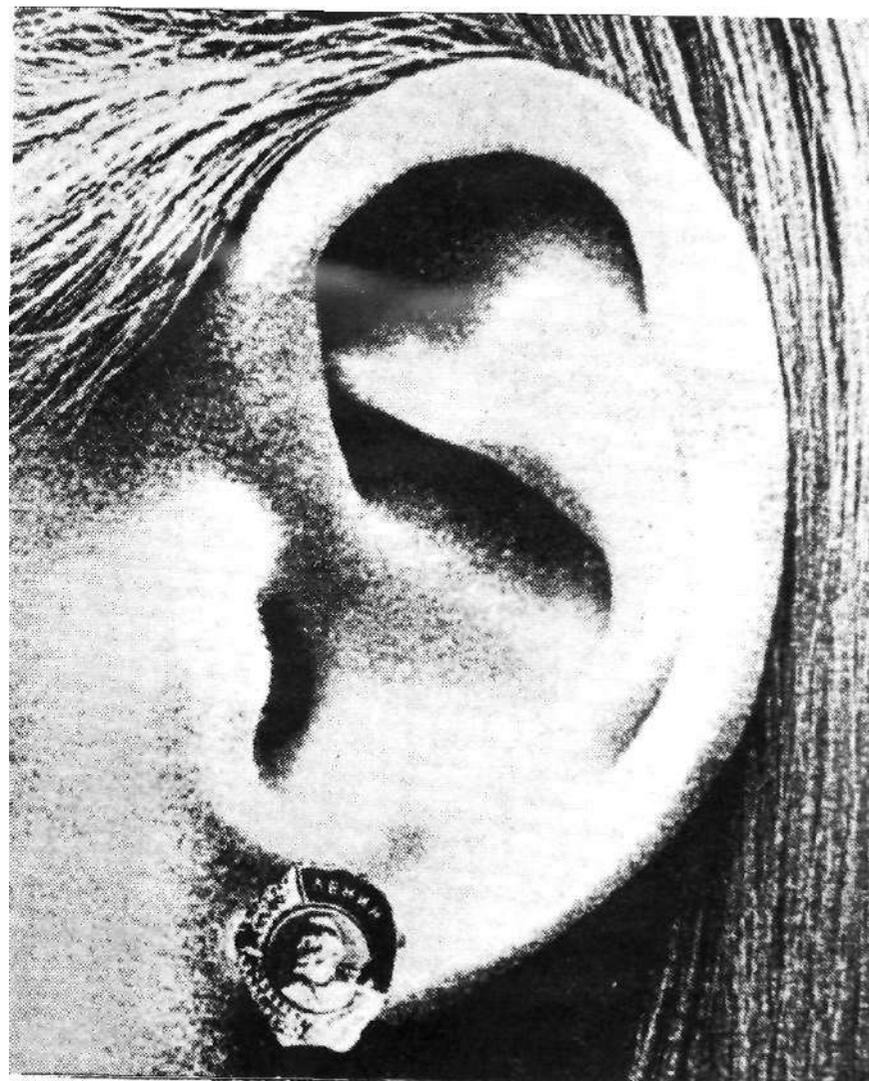
1975 г.



1975 г.



1978 г. В коллекции Бохумского музея современного искусства (ФРГ)



1975 г.



1976 г. В коллекции Нортон Доджа (США)

НЕБРЕЖНОСТЬ В ТЕРМИНАХ, ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ ИСТИНЫ

В № 72 журнала "Время и мы" опубликована статья Милана Шимечки "Западные левые и русская революция". Она неприятно поразила меня то ли непростительной при ее претензии на научность небрежностью формулировок, то ли поверхностностью позиции, отразившейся в этих формулировках.

Назвав несколько раз учение Маркса утопией, М.Шимечка тем не менее полагает, что "на стороне Ленина была осязаемая действительность диктатуры пролетариата". Он повторяет это суждение: о построенной большевиками в начальный период их правления диктатуре пролетариата — несколько раз. В действительности же большевики никакой диктатуры пролетариата не создали, ибо прогноз и требование ее создания — один из наиболее утопических, то есть невыполнимых, пунктов учения Маркса.

Феномен большевистской (коммунистической) идеологии многократно назван в этой статье "русской идеологией". С одной стороны, это странное определение опровергается уже одним тем, что, согласно концепции М.Шимечки, симпатии западных левых к большевизму искони предопределялись западным же (марксистским) происхождением коммунистической идеологии. С другой стороны, что такое вообще "русская идеология", "французская идеология", "китайская идеология"? И до возникновения советского государства с его единственной правящей партией и моноидеологической монополией верховного органа этой партии, то есть в дооктябрьской России, не существовало никакой "русской идеологии". В России, как и во всяком нормальном обществе, сосуществовало и состязалось множество идеологий. В 1900-х — 1910-х годах это сосуществование и состязание становилось все более гласным и легализованным. Но и раньше, во второй половине XIX века, российская общественная мысль гласно проявляла свое идеологическое многообразие. С победой большевиков, уже при Ленине, в СССР установилась "монополия легальности" (это выражение Ленина) единственной идеологии. И это была идеология коммунистов, имеющая истоки в марксизме и приспособленная большевиками к их реальным политико-экономическим потребностям — к задачам удержания и сохранения их единовластия. Таковой остается эта идеология по сей день.

Последняя фраза статьи: "...монолитный костяк русской идеологии давно уже превратился в ржавый металлолом" — поражает своим двойным несоответствием истине. Во-первых, повторяю, идеология не "русская", а коммунистическая. Во-вторых, она продолжает жить. В СССР уже почти никого не может обмануть, в нее не верят и сами ее носители, но она сохраняет там свою "монополию легальности", ибо, несмотря на все ее одряхление и теоретическую беспомощность, толь-

ко ею и можно еще как-то оправдывать и аргументировать внутреннюю и внешнюю политику КПСС. Но вне социалогера эта идеология отнюдь не утратила своей экспансионной мощи, демагогической гибкости и псевдоконструктивного потенциала. Она продолжает втягивать огромные зоны мира в свою орбиту. Все еще подпадает под ее обаяние и часть западного общества. Совсем недавно 30% итальянцев проголосовали за коммунистов. В "третьем" же и "четвертом" мирах она сегодня так же оболъщает массовое сознание своими лозунгами, как оболъстила (Шимечке об этом пишет) в 1917-18 годах российские массы. Этот парадоксальнейший живой, энергичный и до зубов вооруженный мертвец сам по себе в своей экспансии не остановится. Тем более, что действенной контрпропаганды никто в мире ему сегодня не противопоставляет.

"...Советский Союз, — пишет Шимечка, — действовал, как любое иное государство, взяв на вооружение разработанные русским самодержавием концепции стратегии, экономики и политики". Эта фраза решительно противоречит исторической реальности двух государств: российского и советского. Это Российская империя "действовала, как любое иное государство" ее эпохи: была не агрессивней других, не знала экономической централизации и моноидеологизма, характерных для советского государства, и в XX веке опережала по темпам экономического развития большинство стран мира. В начале XX века в ней шли бурные политико-экономические преобразования либерализующего характера. Первая мировая война, неудачное царствование и ряд других кризисных обстоятельств, которые здесь разбирать неуместно, прервали это развитие. После утверждения большевистской власти процессы в стране потекли в обратном направлении — в сторону предельной централизации, несвободы и монополизации власти. Экспансия коммунистическая ничего не имеет общего с традиционной имперской политикой. Как уже было неоднократно прослежено в печати, она является самоцелью, а не задачей прикладного характера, преследующей экономические интересы метрополии. Поэтому в Никарагуа или Анголе эта экспансия так же активна и упорна, как и у самых границ СССР.

Анализ столь важных и, может быть, роковых для мира процессов, как практические приложения марксизма в XX веке, требует куда более вдумчивого подхода, чем тот, который мы обнаруживаем в статье Милана Шимечки.

Дора Штурман (Тиктина)

В № 71 в интервью с художником М.Вербовым допущена неточность. Третий абзац снизу на с. 166 следует читать так: Я всегда увлекался женщинами, которые хотели иметь богатых и влиятельных мужей.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ — см. № 72.

ШУЛАМИТ ГАР-ЭВЕН — выросла в Иерусалиме, где живет и по сей день. Во время осады Иерусалима была санитаркой в Хагане, в начале 50-х годов служила в Армии обороны Израиля и была среди основателей радиостанции Галей Ца-ал. Офицер израильской армии. Известный публицист и автор девяти книг стихов и рассказов. Роман Гар-Эвен "Город многих дней" вышел в США на английском языке. Выступает и как переводчик. Шуламита Гар-Эвен — единственная женщина среди членов Академии иврита. Один из публикуемых рассказов — "Одиночество" — представляет Израиль в антологии литературы девяти стран, вышедшей на восьми языках.

ВАСИЛЬ СТУС — украинский поэт и публицист родился в 1938 г. в селе Рехнивци Гайсинского района Винницкой области. Закончил Донецкий педагогический институт и преподавал в школе. В 1964 г. стал аспирантом Института литературы АН УССР, откуда был изгнан в 1965 г. за выступление в защиту арестованных представителей украинской интеллигенции. В январе 1972 г. арестован и приговорен к пяти годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки. После отбытия срока вернулся в Киев. В 1979 году стал членом Украинской Хельсинской группы. В 1980 г. был снова арестован и приговорен к десяти годам тюремного заключения и пяти годам ссылки. На Западе вышли два его сборника (оба на украинском языке) — "Зимние деревья" (1970) и "Свеча в зеркале" (1977).

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА (Юлия Дубровкина) — см. № 71.

АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН — родился в 1927 г. в Изяславле (Украина). В 1946 г. окончил Московский Экономический институт. В 1966 г. стал доктором наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете МГУ. В 1973 г. эмигрировал в США, где получил профессуру в Пенсильванском университете. Автор девяти книг и более чем сотни статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

СЕРГЕЙ ЗАМАЩИКОВ — родился в 1951 г. в Гомеле. Окончил Рижский университет. На Западе с 1979 г. В настоящее время — аспирант отделения политических наук Калифорнийского университета.

АМОЗ ОЗ — родился в 1934 г. в Иерусалиме. Изучал литературу и философию в Иерусалимском университете. С 1957 г. — член кибуца Хулда. Литературный дебют Амоса Оза состоялся в 1971 г. Он — автор повестей и романов, переведенных на английский и другие европейские языки. В политической жизни придерживается левых взглядов, поддерживает антивоенное движение "Мир сегодня".

В. ДМИТРИЕВ — родился в 1946 г. в Ленинграде. В 1970 г. окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии как театровед. Из-за открыто высказанного несогласия с советским режимом лишился профессиональной работы и с 1974 г. работал почтовым, лаборантом, охранником, лифтером. Начиная с 1976 г. — постоянный автор ленинградского самиздатского журнала "37"; печатался под псевдонимом В.Азарян. Публиковался в "РХД" и "Гранях". В 1981 г. выслан с семьей из СССР.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 г. Окончил Киевский университет в 1949 г. и Московский статистический институт в 1950 г. Социолог. Работал в Новосибирском университете, а затем старшим научным сотрудником Института социологических исследований в Москве. Эмигрировал в 1979 г. В настоящее время профессор Мичиганского университета.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — английский писатель и публицист. Окончил Кембриджский университет как историк. Участник второй мировой войны. После войны полностью посвящает себя литературной деятельности. Был специальным корреспондентом в Вене "Дейли Телеграф". Затем становится заместителем главного редактора газеты "Сандэй Телеграф". Этот пост занимает по сей день. Автор многих книг на политические темы. Книга "Судьба советских перебежчиков" (английское название "Буревестники"), откуда взяты опубликованные в журнале главы, пережила несколько изданий.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1983

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИИ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ВРЕМЯ И МЫ' — 1983 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK,
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

**Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их
поводу редакция в переписку не вступает.**

**MAIN OFFICE: 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A,
NEW YORK 10017, Tel. (212) 684-3014**

Printed in Israel

OCR и вычитка — Давид Титиевский, февраль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Фотография В.Бахчаняна — А.Виленского

**На четвертой странице обложки:
Вагрич Бахчанян. Ленин. Из неизданной книги
"Искажение ленинских норм". 1977**

